# володимир іконников

Листи до друга 1863-1864 рр.

Упорядник та автор передмови В.І. Ульяновський

УДК 821.161'04.09+75.052]:57 ББК 83.3(4)4+85.14+28

Упорядник та автор передмови професор, доктор історичних наук В.І. Ульяновський

Володимир Іконников. Листи до друга 1863–1864 рр. (рос. мовою) / упоряд. та автор передм. В.І. Ульяновський. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2021. 152 с.

Публікується раннє листування відомого київського історика, академіка Володимира Степановича Іконникова (1841–1923) періоду його перебування в Київському Володимирському кадетському корпусі з його другом Іваном Каневським.

ISBN 978-617-7285-40-2

© Ульяновський В.І., упорядкування, передмова, 2021 © Боляк О.С., верстка, дизайн обкладинки

## СОДЕРЖАНИЕ

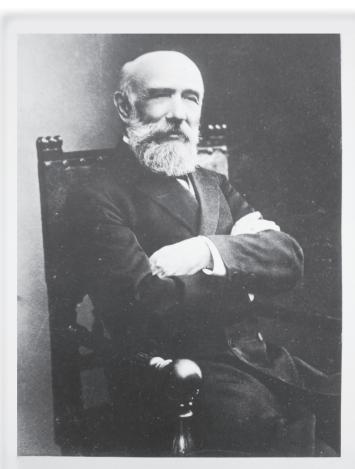
	«Чувственная дружба и нежные чувствования»:					
7	переписка Владимира Иконникова с другом					
9	Границы допустимого: требования адресантов					
	Становление: Владимир Иконников					
18	до знакомства с Каневским					
40	Дружба: радости, разочарования, испытания					
61	Интеллектуальная история в письмах друзей					
65	О другом					
68	Новая переписка					
	Письма 1863–1864 гг.					
79	№ <b>1. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 15, 21 августа 1863 г.					
80	<b>№2.</b> И. Каневский – В. Иконникову, 23 августа 1863 г.					
81	<b>№3.</b> И. Каневский – В. Иконникову, 27 августа 1863 г.					
83	<b>№4. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 30 августа 1863 г.					
84	<b>№5.</b> И. Каневский – В. Иконникову, 6 сентября 1863 г.					
87	№1. В. Иконников – И. Каневскому, 4 сентября 1863 г.					
89	<b>№2.</b> В. Иконников – И. Каневскому, 12 сентября 1863 г.					
91	<b>№6. И. Каневский – В. Иконникову</b> , 15 сентября 1863 г.					
93	№3. В. Иконников – И. Каневскому 21 сентября 1863 г.					
96	<b>№7. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 1 октября 1863 г.					
97	<b>№4.</b> В. Иконников – И. Каневскому, 2 октября 1863 г.					
99	<b>№8. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 9 октября 1863 г.					
101	№5. В. Иконников – И. Каневскому, 20 октября 1863 г.					
103	<b>№9. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 10 ноября 1863 г.					
105	<b>№6. В. Иконников – И. Каневскому,</b> 22 ноября 1863 г.					
107	<b>№10. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 4 декабря 1863 г.					
109	№7. В. Иконников – И. Каневскому, декабрь 1863 г.					
112	<b>№8.</b> В. Иконников – И. Каневскому, 3 января 1864 г.					
114	<b>№11. И. Каневский – В. Иконникову</b> , 8 января 1864 г.					

<b>№12. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 17 января 1864 г.	116
<b>№9.</b> В. Иконников – И. Каневскому, январь 1864 г.	117
<b>№10. В. Иконников – И. Каневскому,</b> 10 февраля 1864 г.	119
<b>№11. В. Иконников – И. Каневскому,</b> 1 марта 1864 г.	122
<b>№12. В. Иконников – И. Каневскому,</b> 5 апреля 1864 г.	125
<b>№13. В. Иконников – И. Каневскому,</b> 4 мая 1864 г.	127
<b>№13. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 4 мая 1864 г.	128
№14. В. Иконников – И. Каневскому, 29 мая 1864 г.	130
№ <b>14. И. Каневский – В. Иконникову</b> , 4 октября 1864 г.	131
№ <b>15. И. Каневский – В. Иконникову,</b> 3 ноября 1866 г.	133
Приложение	

## Иконников В.С.

Несколько страниц из моей жизни: письмо И.К. 135

Ивану Каневскому 145



B. Unounuxaby

## «Чувственная дружба и нежные чувствования»: переписка Владимира Иконникова с другом

Публикуя переписку юношеской поры известного историка Владимира Степановича Иконникова с его другом по Киевскому кадетскому корпусу Иваном Яковлевичем Каневским, автор этих строк изначально пребывает в весьма деликатной ситуации. И содержание, и стиль этих писем наполнены эмоциями, чувствами, нежностью и любовью друг к другу. Для современного человека это может выглядеть странно, если не сказать более. И даже специалисты-гуманитарии, особенно представители постмодернизма с акцентом на гендер и присущую ему разнообразную тематику сексуальности, несомненно, пожелали бы использовать эту переписку именно в этом столь современном ключе.

Моя задача как публикатора – изначально предостеречь от этого<sup>1</sup>, поместив переписку двух юношей в контекст эпохи и закрытого учебно-воспитательного заведения первой половины 1860-х годов. Вдумчивые исследователи, изучавшие состояние «чувствительности» общества того времени, как и более раннего, отметили особенность стиля самовыражения юношества в письмах и дневниках, исполняющих функцию «зеркала» собственного эмоционального мира, который скрывается от чужих глаз установившимися принципами «чопорного этикета». В частности, Вера Дубина подчеркнула: «В противовес опасности скуки воспитанники закрытого заведения стремятся выказать в письмах

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См. например: Козловский В. Арго русской гомосексуальной культуры. Vermont: Benson, 1986; Деламю Ж. Грехи и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада XIII–XVIII веков. Екатеринбург, 2003; О муже(N)ственности: сборник статей / ред. С. Ушакина. Москва, 2002; Kelly C. Refining Russia. Advice Literature, Polite Culture and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford: Oxford UP, 2001 и множество других публикаций.

и дневниках чувственность ...»<sup>2</sup>. Именно закрытое пространство образовательного учреждения способствует появлению и развитию очень сильной привязанности к своим товарищам/товарищу, поскольку эволюция эмоционального и душевного развития требует общения с «родственной душой», которой можно поверить и доверить все свои самые сокровенные тайны. Это и есть та «чувственная дружба и нежные чувствования», о которых проникновенно писал Ю.М. Лотман<sup>3</sup>.

В данном случае, по-видимому, применим предложенный Андреем Зориным концепт «эмоционального режима» кадетского корпуса<sup>4</sup>. Исследователь также вводит понятия «публичных образов чувствования», отражающихся в переписке с целью разобраться в своих собственных чувствах, поскольку создание письма требует осмыслить эти чувства на бумаге. В нашем случае частная переписка вряд ли может быть «публичной», поскольку касается только двух лиц и является не просто приватной, но и совершенно закрытой для любых других глаз. Тем не менее, общее положение «работает»: оба друга создавали «эмоциональные матрицы», которые действовали в контексте идеализированных представлений персонажей о самих себе и друг о друге, определяя их общие переживания. В целом, переписка двух друзей создает «эмоциональный процесс», где представлены не события, но многомерные значения их, которые по-разному или одинаково понимают корреспонденты<sup>5</sup>. Поэтому каждое письмо это своеобразный «эмоциональный акт», в котором проявляется история эмоций конкретного индивида, эмоционального сообщества «мира кадетов» в целом и, в определенной степени, даже самой эпохи.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Дубина В. Воспитание скукой: обращение с эмоциями в русском дворянском образовании середины XIX века // Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций / ред. Яна Пальмера, Шамлие Шахадат, Марка Эли. Москва, 2010. С. 164–165.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Лотман Ю.М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Лотман Ю.М. О Карамзине. Санкт-Петербург, 1997. С. 650–652.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Зорин А. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. Б. м. и г. С. 46.

<sup>5</sup> Там же. С. 29, 31.

Таким образом, мы вступаем в очень тонкую и чувствительную сферу анализа юношеских эмоций, представленную в переписке двух кадетов (в отношении Иконникова – это уже его студенческое время), длившуюся короткое время (всего два года) и прекратившуюся, когда они расстались, оказались территориально в разных местах, на разных служебных позициях и с разными жизненными целями. Сразу подчеркну: автор этих строк не психолог, посему не будет оперировать приемами психологии б. Вряд ли с моей стороны возможен и культурологический подход Представляя науку, которой всю творческую жизнь занимался сам В.С. Иконников, – историю, я останусь историком также и в исследовании писем двух друзей как исторического источника, но весьма специфического, поскольку эти письма в основном «говорят» об эмоциональном мире и самой душе корреспондентов в

### Границы допустимого: требования адресантов

Деликатность ситуации для исследователя состоит в том, что сам Владимир Иконников в публикуемых письмах наложил своеобразное «табу» на их использование. Более того, он просил Ивана Каневского уничтожить свой дневник и ранние письма. И если письма после отъезда Каневского в Санкт-Петербург Иконников сохранил (как адресанта, так и свои черновики), то собственные ранние («киевские», когда они оба были в Киевском кадетском корпусе и в первое время после выпуска Иконникова из него) послания к другу (также черновики) он уничтожил. Почему? Он предвидел, что некие фразы, общий тон, проникнутый не только привязанностью, но и любовью к другу, может

 $<sup>^{8}</sup>$  См.: Февр Л. Чувствительность и история // Февр Л. Бои за историю. Москва, 1991.



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> См.: Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века по материалам переписки. Москва, 1999; Василюк Ф.Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций. Москва, 1984.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Гоффман И. Представления себя другим в повседневной жизни. Москва, 2000;
 Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // НЛО.
 2002. № 75; Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций / ред. Яна Пальмера, Шамлие Шахадат, Марка Эли. Москва, 2010.

быть использован превратно. В письме от 3 января 1864 г. Иконников писал: «А ведь все может случиться: клочки бумаги, исписанные моею рукою, могут попасть, по разным причинам, в другие руки и ловкому писцу послужить вставкою в неприхотливую повесть» В декабре 1863 г. по этому поводу он высказался весьма четко: «Мое чувство дорого для меня, и я не хотел бы, чтобы когда-нибудь тот (речь шла о дневнике. – В. У.), кому он каким-либо образом достанется, – разбирал его по-своему. Чего доброго, в руках такого человека он станет предметом серьезного анализа и образцом смешного идеализма». Иконников напомнил Каневскому о лермонтовском Печорине и его «Дневнике», который Максим Максимович передал будто бы самому Лермонтову, а тот использовал текст для своего сочинения «Герой нашего времени». Иконников несколько раз повторяет Каневскому свою просьбу: сжечь его ранние письма и дневник, уничтожить «эти вещественные знаки невещественных отношений» (эту фразу он позаимствовал из «Обыкновенной истории» Гончарова). Владимир констатировал: «Я буду постоянно думать о том - не попалась ли эти клочки какому-нибудь пройдохе мира сего» (3 января 1864 г.).

Все это ставит автора данных строк в труднейшее положение. Конечно, можно было бы НЕ публиковать эту переписку, помня о нежелании Иконникова, чтобы его письма публично использовались, а уж тем более анализировались. Но я знаю, что рано или поздно они все же будут опубликованы. И если автор этих строк хорошо понимает границы, «красную черту», которую нельзя переходить в интерпретации этой переписки, то кто знает, как поступил бы другой публикатор. Да, естественно, после этой публикации письмами двух юношей могут воспользоваться другие исследователи как захотят, но это будет уже их личная ответственность и перед наукой, и перед авторами писем. Не собираясь быть «пройдохой мира сего», я обращаюсь также к коллегам, которые пожелали бы использовать эту переписку, прося быть также максимально деликатными и не стать «пройдохами».

Вопрос о сокрытости писем, особенно «киевского периода», постоянно затрагивался в переписке друзей. 4 сентября 1863 г.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Здесь и далее я не ссылаюсь на оригиналы публикуемых писем, указывая лишь дату цитируемого письма.



Иконников писал: «Еще прошу тебя, пусть те письма, которые я писал к тебе в Киев, останутся известными только тебе, а если нельзя иначе, то лучше сожги их. Я писал их, как говорило мне сердце, а человек не властен в своем сердце; «он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать ему свободу» (слова Екатерины II). Толпа их не поймет, а напротив – она готова будет осмеять их, а это очень больно ...». На эти пронзительные слова друга Каневский отвечал (15 сентября): «За свои письма будь покоен; ни эти, которые ты пишешь, ни те, которые ты мне писал в Киеве, в особенности те, - ни одна душа живая не прочтет с моего ведома; а спрятаны они под замком, их же душа, их святой смысл и жар спрятаны глубоко в моей собственной душе, и никакая холодная рука не коснется их». Да, как увидим далее, Каневский хранил эти тексты Иконникова почти полвека и лишь на склоне лет попросил совета у друга, как со всей этой «дорогой памятью юных дней» поступить.

Ныне можно лишь пожалеть, что в рукописях не остались дневники обоих авторов. Весьма важно, что они доверяли друг другу настолько, что обменялись дневниками и прочли их, сверив свои личные чувства и эмоции, разность описания и восприятия самих отношений. Этот факт настолько показателен в отношении обоюдного доверия и «впускания» лишь одного человека в глубины своего внутреннего мира, что не требует особых комментариев. В мемуарах Иконников писал, что начал свой дневник в 1861 г. (в то время они еще не были знакомы с Каневским), отметив, что «дневник, начало которого (дальше не пошло) сохранился у меня». Конечно, речь шла о раннем дневнике, а вот его продолжение во времена дружбы и некой платонической влюбленности в Каневского попало к последнему и к автору уже не вернулось, а если и вернулось, то было уничтожено. В письмах сам Иконников часто апеллирует к своему дневнику в руках Каневского, подробно не разъясняя ряда моментов их отношений, лишь указывая – «ты читал мой дневник», «не буду повторять об этом» (письмо-исповедь).

На требования Иконникова сжечь дневник Каневский отвечал по-разному. Иногда он писал (17 января 1864 г.): «Дневник сегодня или завтра по настоятельности твоей сожгу. Но записок –

никогда». Хотя сам Иконников считал свои «киевские» (напомню. – когда оба друга были в Киевском кадетском корпусе) письма к другу также своеобразным дневником («мои письма были ни что иное, как дневник, потому что я записывал в них все, что чувствовалось на душе») и настаивал на их уничтожении. Оценка Иконниковым своего дневника была уничижительной: «мой бездушный, бумажный дневник, испещренный грубою скорописью, он выразитель бреда мысли, отягченной в минуту досады – досадою, в минуту смеха – насмешкою, в минуту скорби – тоскою» (22 ноября 1863 г.), а посему «дневник мой – подсудимый, я – судья. И так я приговариваю: «сжечь его медленным огнем, дабы не было по нем и остатка». Извините, господа зрители, что в XIX веке судья прибегает к инквизиторскому аутодафе – преданию огню». Такое решение автор объяснял двояко: «Я сам его знаю хорошо, и потому он для меня лишний, для тебя он через некоторое время станет смешным, и это будет с твоей стороны также справедливо, как с моей желание предать его огню, только эта стихия вполне может его уничтожить и никому не выдаст его тайны, потому, что и сама уничтожается вместе с ним» (декабрь 1863 г.). При этом Иконников настаивал, чтобы вместе с дневником были сожжены и «летние листки» - «также идеальные» (т. е., наполненные идеализмом), - речь шла именно о «киевских письмах». 3 января 1864 г. Владимир вновь констатировал: «Ты сам знаешь результаты моей идеализации, они у тебя в руках: дневник, относящийся лично к тебе, письма, относящиеся тоже лично к тебе».

И самое важное: как Иконников определял главный стимул к переписке и написанию дневника, пересылаемых Каневскому: «Происхождением своим они обязаны тебе, существование их соединено с тобою. Они не плод поэтического вымысла и не плод отвлеченной мысли. Они плод живых отношений живых людей, и ничья посторонняя рука не должна касаться и разбирать их смысл, ставить вопросительные и удивительные знаки» (3 января 1864 г.).

Приведенные выше цитаты из переписки друзей показывают всю глубину их духовной и эмоциональной связи, неимоверный уровень взаимного доверия. Исследователя же все это заставляет быть максимально деликатным в рассмотрении столь лично-

го и чувственного, этого постоянного «электрического разряда» между двумя сроднившимися юношами.

Относительно дневника Каневского, переданного Иконникову, - Владимир его не сохранил, по-видимому, по тем же причинам, по которым требовал сжечь свой дневник. Этот дневник друга принес немало переживаний юному Иконникову, поскольку содержал информацию о других «влюбленностях» Каневского, то есть, чувственном отношении к нескольким друзьям-кадетам. Сам же Иван уже 27 августа 1863 г. просил прислать его дневник в Петербург: «он мне дорог, как воспоминание прошлого». При этом Иван просил Владимира «в письмах быть поосторожнее насчет нашей домашней политики. Бог знает, чрез какую цензуру будут они проходить». Это подчеркивание «домашней политики» служило неким символом нежности отношений, которые посторонними могли быть восприняты, как непристойные. 6 сентября 1863 г. Каневский представил некую интерпретацию своего дневника другу: «Прочел ли ты мой дневник? Какие мысли он на тебя нагнал? Не думаю, чтобы веселые. О, если бы ты знал, как я мучился, писавши его! Поверь, что там нет ни одного слова так себе, для потехи, для забавы, ради эффекта». И вот 9 октября 1863 г. Иван буквально взывал: «Ради Христа, ради всего святого, скорей, скорей высылай мой дневник, он мне до зарезу нужен, ради Христа, скорее, ни минуты не медли». Но Иконников медлил, указывая, что пришлет дневник позже по неким причинам, которые собирался объяснить также позже. 21 сентября 1863 г. он писал, что дневник друга нужен ему для анализа отношений в своих письмах к нему: «дневник потому еще не выслал, что кое-что не окончил в своих письмах, но скоро, скоро вышлю». По-видимому, он все же вернул дневник Каневскому, посему он, по-видимому, навсегда канул в Лету. Тем не менее, сам Иконников в своих письмах не использовал текст дневника друга, либо использовал лишь некими намеками, не цитируя текст.

Почему же Иконников так волновался в отношении дневников и переписки? Что в этих текстах, в частности, переписке, такого, что его смущало и заставляло спрятать их от посторонних глаз? Ответ прост и сложен одновременно. Это нескрываемое чувство сильной привязанности к Каневскому и сильной любви



двух юношей друг к другу. Понимая некую двусмысленность ситуации, Иконников старался обезопасить эту переписку от чужих глаз. Чьих? Первоначально не наших, исследовательских. В первую очередь он прятал свидетельство обоюдных глубоких чувств от своих родных, в частности, отца с довольно деспотическим характером, старавшегося полностью контролировать не только сына-юношу, но даже повзрослевшего человека и университетского преподавателя (стоит лишь почитать его сохранившиеся письма к Владимиру) 10. Посему все сохранившиеся письма Ивана Каневского из Санкт-Петербурга 1863-1864 гг. по требованию Владимира адресовались не на частную квартиру Иконниковых, а на Университет Св. Владимира, где Владимир сначала был вольнослушателем, а затем студентом. Далее Иконников просил Каневского в самих письмах не упоминать его фамилию, «когда относишься ко мне, как к лицу», заменить ее «чем-нибудь другим», поскольку «не всякий оценит наши отношения» (письмо от 12 сентября 1863 г.). Он понимал, что письма кадетов могут перлюстрироваться, хотя фамилия адресата указывалась на конверте, посему указанная предосторожность вряд ли была бы действенной. Сам же Иконников также до определенного момента не подписывал свои послания Каневскому, употребляя вместо подписи некие фразы, например, «ты узнаешь по почерку, кто я таков, если трудно узнавать по чувству» (20 октября 1863). Он также спрашивал адресата: «запечатанные ли письма получаешь и в какое время: утром, в полдень или после обеда», и через какое время после отправки (там же). Впервые Иконников поставил свою подпись (фамилию) в письме от 1 марта 1864 г., когда его письма утратили насыщенную эмоциональность и чувственность, когда он стал излагать не столько свои чувства, сколько факты из жизни общих знакомых и киевские события.

С этого времени Иконников и Каневский как бы поменялись местами. Теперь уже Иван стал чувствовать некое охлаждение Владимира. В сентябре 1863 г. Каневский с беспокойством констатировал: «твое письмо... помрачено оттенком холодности, которая мне не была знакома до сего в тебе». А уже через месяц

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (далее – ИР НБУВ). Ф. III. Ед. хр. 49154–49161.

Иван недоуменно вопрошал: «ты прежний Иконников, каким был при нашем расставаньи, ты ли тот же человек, которому я так смело доверялся, перед которым самые святые тайны, тайны, которые я бы задумался, может быть, открыть отцу, матери, были открыты во всей наготе, для многих показавшейся бы, может быть, смешною?». Вся дальнейшая переписка показывает, как Иконников «закрывает» свои эмоции, не изливая их в прежней мере в письмах к другу. Для нас – это знак, что источник (именно письма Иконникова) изменился, он стал иным, в письмах Владимира преобладали философские рассуждения, конкретика жизни и ситуаций, было больше описательности, но не его эмоционального мира.

Каневский также пытался понять причину столь резкого изменения в Иконникове. В конце концов, он пришел к выводу, что все изменилось после некоего изложенного другу взгляда Ивана на суть их отношений (17 января 1864 г.). Сам же Иконников представил другу свое объяснение в проникновенном письмеисповеди под названием «Несколько страниц из моей жизни»: «Ты помнишь, как одно слово «друг», написанное ... в письме, заставило меня распространиться об этом на целой странице дневника. Не переживать мне, кажется, уже более тех чувств. Каждый год кладет на меня новый слой коры и, таким образом, не дает душе хоть однажды обнаружиться вполне ...». Он констатировал: «Легко разойтись, но как трудно снова сходиться!!!».

Таким образом, кроме обозначенных границ допустимого в анализе публикуемой переписки, следует констатировать явную эволюцию переписки друзей 1863–1864 гг. от полной открытости, горячих эмоций и чувств до охлаждения этих чувств и изменения не только стиля, но и содержания писем на философские размышления и фактологические описания, на констатацию планов и дел.

В целом писем Ивана Каневского 15, а Иконникова 14. Они охватывают 1863–1864 гг., когда Иван Каневский оставил Киевский кадетский корпус и отправился в Санкт-Петербург для продолжения обучения в Первом военном Павловском училище. Вся их ранняя переписка «киевского» периода, когда они оба обучались в Киевском кадетском корпусе, не сохранилась (по-видимому,



была уничтожена самим Иконниковым). Публикуемые письма сохранились в архиве В.С. Иконникова в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского. Именно это обусловило само название публикации «Владимир Иконников. Письма к другу 1863–1864 гг.». Таким образом, в фокусе – именно письма Владимира Иконникова и его личность, хотя при этом публикуются и все сохранившиеся письма Ивана Каневского за это же время. Автор этих строк также делает упор именно на личность известного историка, пытаясь анализировать письма, которые использовал с такой же целью, но лишь информативно, в прошлых своих публикациях<sup>11</sup>.

И еще одно. Теперь мы имеем возможность провести сравнение писем и частично дневника Иконникова с его мемуарами самого начала 1920-х годов, попавших с эмигрантами за границу и оказавшихся в «Пражском фонде» Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)<sup>12</sup>. В частности, именно в воспоминаниях Иконников подробно описал жизнь в корпусе. В этих мемуарах автор дважды упомянул о Каневском. В первый раз – в числе выпускников Киевского кадетского корпуса, которые стали известными: «Наиболее выдающихся можно назвать: Александр Тилло, занимавшегося науками физическими, удостоенного степени почетного доктора Новороссийского университета

<sup>11</sup> Ульяновський В. Знаний і незнаний Володимир Іконников // Іконников В. Історичні портрети. Київ, 2004. С. 6-82 (здесь мы впервые использовали публикуемую переписку, дав ей краткую характеристику, как проявлению «товарищеской нежности и платонической любви», «чувственности натуры» и пр. - с. 13-14); Его же. «Бенедиктинец русской истории» и его «труд всей жизни» // Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. 2. Кн. 3. Санкт-Петербург, 2013. С. 11–151 (о письмах к Каневскому – с. 23–26). 12 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 7353. Оп.1. Д. 1-3. Мемуары писались Иконниковым почти до самой смерти (доведены до 1923 г.), их текст был передан знакомому и ученику ученого профессору Карлова университета в Праге В.А. Францеву, который в 1934 г. отдал мемуары в «Русский заграничный фонд» в Праге (там же, д. 1, запись на обложке рукописи). Францев получил рукопись от зятя Иконникова генерала Всеволода Петрова, эмигрировавшего в Чехословакию. В 1944-1947 гг. архивы эмигрантов и их учреждений были вывезены в Москву, ныне они составляют «Пражский фонд».

и члена-корреспондента Императорской Академии Наук, Станислав Каминский, с которым занимался математикой проф. Ващенко-Захарченко, Владимир Орловский, сосед мой по классу, ставший академическим художником, Иван Яковлевич Каневский, служивший на Кавказе и писавший о нем в «Русском вестнике», Дмитрий Гирс, издатель скоротечной газеты «Правда», кажется, и отчасти я<sup>13</sup>. А второй раз упоминал уже непосредственно о дружбе с ним: «Находясь во 2-й роте, я сблизился с Каневским, с которым часто беседовал в свободное время о всех происшествиях, вопросах и темах. В знак дружбы он мне подарил свою награду: Анселоне о европейских переворотах (2 тома), «Этюды Шлейдена» (тоже награда), «Историю Университета Св. Владимира» В.Я. Шульгина, его родственников, ценный подарок, потому что, как оттиск из журнала (Русское слово), они представляли редкость и потом пригодились мне, когда я стал заниматься историей университетов»<sup>14</sup>. В этих словах о Каневском нет прямых эмоций, они «закрыты» в информации о беседах с другом на разные темы, фразой о «сближении» и о важном книжном даре «в знак дружбы». Это чувство юношеской дружбы до последнего теплилось в душе академика Иконникова, ведь он в мемуарах, упоминая многих друзей среди бывших кадетов, так ни о ком из них не писал.

Наконец, не менее важное сравнение. В архиве Иконниковых сохранились письма Владимира Степановича к невесте – Анне Леопольдовне Родзевич за 1866–1867 гг., которые также могут послужить неким «модулем» для сравнения с юношескими письмами к другу, поскольку по сути должны быть наполнены чувствами и эмоциями. И, как ни странно, именно эта составная многих и весьма длинных писем Иконникова к невесте сильно уступает его юношеским письмам к другу<sup>15</sup>. Владимир много размышляет, философствует, очень любит «рисовать» разные драматические сцены с прямой речью героев (своей и невесты). И

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> ГАРФ. Ф. 7353. On. 1. Д. 3. Л. 34 об. – 36.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Там же. Л. 41.

 $<sup>^{15}</sup>$  ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 343–360; публикация: Чуткий А.І. Професорська культура: приватна сфера (документи). Листи В.С. Іконникова до А.Л. Родзевич (1866–1867 рр.). Київ, 2010. 76 с.

хотя он констатирует: «В голове много мыслей, но чувство пересиливает их»<sup>16</sup>, излияния собственно этих чувств не столь пронзительны, как в письмах к другу. Тем не менее, сравнение переписки с двумя, хотя и совершенно разными и встретившимися Иконникову в разное время родственными душами все же, по моему мнению, является актуальной.

#### Становление: Владимир Иконников до знакомства с Каневским

Юношеские письма Иконникова могут иметь свой «ключ» в его «докадетском» и раннем кадетском прошлом. Ведь он прошел определенный путь до знакомства с Каневским и имел свои, пусть еще не установившиеся однозначно, образ, характер, стиль мыслей и их выражения, проявленный и скрытый эмоциональный мир. Кроме того, до 1863 г. он уже немало прочитал литературных текстов. А ведь в то время именно литература вырабатывала определенные «эмоциональные матрицы», служила «эмоциональными камертонами», на которых молодые люди «учились настраивать сердца», и чтение одних и тех же сочинений способствовало распространению «единых моделей чувств»<sup>17</sup>.

Об этом раннем периоде становления Иконникова информация присутствует лишь в его поздних мемуарах. Отметим, что, записывая по памяти свое видение собственного прошлого, Владимир Степанович как опытный источниковед четко осознавал все риски субъективизма и взгляда «постфактум». В самом начале мемуаров он заметил: «Время уносит многое; одно забывается, а другое подвергается таким изменениям, что потом и не узнаешь его прежнего облика. Я заметил над собою, что желание писать дневник или заметки всегда являлось у меня после более сильных впечатлений и в начальные моменты, когда становишься внимательнее и к себе, и ко всему окружающему. Запись известного факта или впечатления необходима, пока они не изгладились: тогда они рельефнее выступают в своих очертаниях и на бумаге. Потом они могут быть проверены и, где нужно, исправлены; но как часто видоизменяется физиогномия рассказа,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Зорин А. Появление героя. С. 49.



<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 346. Л. 4.

прошедшего несколько стадий развития или через несколько лет»<sup>18</sup>. Это осознание некой условности описания прошлого, отражающей фактический взгляд из настоящего на давно минувшее, обуславливает определенную условность использования мемуаров в отношении не столько конкретики, сколько оценочных моментов. Посему, больше сосредоточимся на анализе собственно конкретики. Вместе с тем, интенция в отношении к прошлому и долговременная эмоциональная память именно через очень поздние мемуары показывают силу чувственного, которая лишь ослабляется, но не стирается не только годы, но и десятилетия, а в отношении мемуаров Иконникова - даже через полстолетия. Сам он писал в 1877 г. знакомому одесскому профессору В.И. Григоровичу: «Воспоминания о прошлом нам всегда доставляют удовольствие, нередко и тогда, когда они рисуют перед нами пережитую борьбу или столкновение ...»<sup>19</sup>. И в то же время, Иконников четко понимал: «Историк не всегда должен полагаться на память свою»20. Фактически у меня нет выбора: поскольку о детстве и юности Владимира Степановича существуют только лишь поздние мемуары, то они одни и являются основой для некой реконструкции (конечно, весьма условно) облика Иконникова обозначенного времени.

Изначально Иконников уделяет немало внимания отцу – Степану Михайловичу (1784–1868). И это не случайно: в жизни сына отец долгое время играл роль «главнокомандующего», вершителя судьбы и жесткого контролера. Как и дед, отец был кадровым военным, прошел наполеоновские войны и был в плену в Париже, имел чин майора. По словам Иконникова, «отец, по-видимому, видел Екатерину II, лично знал Павла I и Константина Павловича, посещавших корпус» (он обучался в Петербургском кадетском корпусе). Рассказы отца с детства были памятны Владимиру и повлияли на его сознание. Более того, сын запомнил свидетельство родителя о том, что «фамилия отца написана в храме Христа

 $<sup>^{20}</sup>$  Государственный исторический музей. Отдел письменных источников. Ф. 440. Д. 53. Л. 89.



<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об. – 11.

 $<sup>^{19}</sup>$  Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 86. Карт. 4. Д. 55. Л. 8 об.

Спасителя на левой стороне с краю на стене»<sup>21</sup>. Так сказать, «салдафонский» характер отца сильно повлиял на Владимира, сделав его нерешительным, отчасти безвольным и поддающимся чужим приказам, его внутренний эмоциональный мир замкнулся и закрылся от всех и вся, поскольку боязнь отца приучила Владимира к скрытности. Мать Агния была полькой – дочерью Владимира Игнатьевича Рушковского из Ружина. Семья Иконниковых переселилась в Киев в 1818 г. Два старших брата Владимира Николай и Михаил были названы по именам дедушек, а третий брат - в честь отца матери Владимиром. Однако Владимир-первый рано умер, поэтому четвертый сын, родившийся 9 декабря 1841 г., вновь получил имя Владимир. Таким образом, Владимир Степанович был «вторым Владимиром» и последним сыном Степана и Агнии<sup>22</sup>. Еще один его брат Александр, бывший юнкером, умер 17-18-летним. Интересно, что сам Владимир Степанович сопоставлял себя именно с Александром, в первую очередь, по внешнему сходству, но исподволь и по литературным интересам, при этом, что любопытно, никак не связывая военную карьеру брата со своей. Вот что он написал в мемуарах: «По лицу я имел с ним сходство. Он имел литературные наклонности, писал стихи и любил, по тогдашнему обыкновению, вписывать друзьям в альбом, сохранившийся у меня. Его очень любили товарищи, и один из них нарисовал красками его портрет, имевшийся у брата и куда-то затерявшийся»<sup>23</sup>.

Старшие братья были уже взрослыми и построили карьеры инженеров, когда Владимир лишь учился ходить, посему отец сосредоточил все внимание именно на младшем сыне, фактически «программируя» его жизнь по собственному разумению и усмотрению. Он стал и первым педагогом сына, строго, по военному ранжиру, обучая и воспитывая мальчика: «Отец учил меня всему сам, не исключая и языков, так как то практиковалось в кадетском корпусе и за границей, считал себя способным к тому»<sup>24</sup>. Более того, Иконников подчеркивал: «Отец меня везде сопут-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Там же. Л. 4-4 об.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Там же. Л. 5.

<sup>24</sup> Там же. Л. 7-7 об.

ствовал. Я ходил с ним в Братский монастырь, в семинарскую церковь (Петра и Павла), в приходскую церковь (Николая Притиска) или ближайшую «царя Константина и Елены». В двух последних мы всегда стояли в алтаре»<sup>25</sup>. Опека отца длилась, даже когда Владимиру было уже 25 лет<sup>26</sup> и он решительно отстранился от родителя, перевелся в 1866 г. в Харьковский университет и стал переписываться с невестой, тогда как отец решительно выступал против женитьбы сына до тех пор, пока он не построит хорошей карьеры и не станет «прилично» зарабатывать. Показателен следующий факт: будучи в плену в Париже, Степан Иконников купил большие карманные часы в виде луковицы, с позолоченным корпусом. Эти часы он дал Владимиру. но когда тот уезжал из-под домашней опеки в Харьков, то оставил этот символ отцовского надзора и связи с ним в Киеве. Отец же передарил часы внуку. Позже, по смерти родителя, Владимир сожалел, что не смог получить обратно эту реликвию отца, поскольку невестка продала позолоченную оправу и сами часы затерялись. В мемуарах Иконников особо подчеркнул старую традицию называть не только родителей, но и всех старших членов семьи (братьев и сестер) исключительно на Вы и принимать их наставления. Эта традиция также способствовала развитию во Владимире «подчиненного характера», непрекословия всем старшим, самозамкнутости и некой засекреченности собственных переживаний и чувств, которыми просто не с кем было поделиться. Все эти обстоятельства с раннего детства «выстрелили» в дружбе с Каневским, в котором юный Иконников увидел человека, способного его понять, и которому можно было поверить все свои задушевные переживания, поскольку и он поверял свои. Конечно, такая давно желанная дружба «откровения» не могла не привести к сильнейшей привязанности и даже некой влюбленности в задушевного друга. Ведь в судьбе Иконникова Каневский был первым человеком, от которого можно было не скрывать свой внутренней мир, а, наоборот, «выплеснуть» его без остатка.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Там же. Л. 7 об. – 8.

 $<sup>^{26}</sup>$  В 1867 г. Иконников писал невесте из Харькова: «Отец уже слишком стар, но за мною убивается ...». ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 349. Л. 2.

Но самое важное для нас - то, что способно объяснить само «устройство души» и скрываемый эмоциональный мир Владимира, - что читал малолетний и юный Иконников, какие книги и издания «готовили» этот самый эмоциональный мир? Из детских воспоминаний историк отметил следующее: «Брат Николай любил чтение и выписывал газеты и журналы, припоминаю «Отечественные записки» – 40-х годов, которые читал вслух по вечерам», а также иллюстрированный календарь с портретами политических деятелей Европы. Когда же Владимир, по его словам, «стал бойко читать», то на киевских контрактах ему начали покупать книги. Иконников больше всего запомнил «Горе от ума» А.С. Грибоедова, сделав примечание: «Может это горе от ума и принесло мне немало горя в будущем»<sup>27</sup>. Образ главного героя произведения Чацкого был прямой противоположностью Иконникова, но он не мог не восхищаться цельным, смелым, вольнолюбивым, не поддающимся чьему-то давлению человеком. Этот образ не мог быть примером для подражания Владимиру, а лишь недосягаемым идеалом, к которому он стал стремиться уже после расставания с Каневским.

Еще одно важное воспоминание детства, на которое наложилось будущее историка: «Проходя к Братскому монастырю, я обратил внимание на маленький деревянный домик в три окна (у угла Хоревой улицы), у одного из которых всегда сидел пожилой человек с прекрасным лицом и почтенной лысиной, держав в руках книгу и от времени до времени поглядывая на проходящих. Этого взгляда иногда удостаивался и я с отцом. Потом я узнал, что это был профессор университета Иванишев, которому мне пришлось подать прошение о поступлении в студенты»<sup>28</sup>. Николай Дмитриевич Иванишев – будущий ректор Университета Св. Владимира, правовед, историк, археограф и даже археолог<sup>29</sup>. С детского возраста он запомнился Иконникову как «муж науки»,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> ГАРФ. Ф. 7353. On. 1. Д. 3. Л. 7-7 об.

<sup>28</sup> Там же. Л. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Романович-Славатинский А.В. Жизнь и деятельность Н.Д. Иванишева, ректора университета св. Владимира и вице-председателя Киевской археографической комиссии. Санкт-Петербург, 1876; Андрейцев В., Короткий В. Микола Іванішев. Київ, 1999.

именно его образ стал для Иконникова неким символом человека науки, которая (именно история) увлекла кадета в последних классах кадетского корпуса. Другое важное «историческое воспоминание» детства - так называемый «домик Петра I» на Подоле: «небольшой каменный дом, ... домик, в котором жил Петр Великий в 1706 г., на что мне часто указывали, когда мы ходили в семинарскую церковь. Предание это мне пригодилось - в 1909 г., когда праздновалось 200-летие Полтавской битвы». Все эти и другие собственно исторические киевские сюжеты как бы готовили Иконникова к будущей карьере, хотя, конечно, он этого не осознавал. Но именно «историзм мышления» стал важной гранью его личности уже в корпусе. Он отразился и в переписке с Каневским. Правда, не столько собственно в ключе разного рода исторической памяти, сколько в ключе ретроспективного анализа отношений с другом, «разворачивая истории» их связи, особенно в письме-исповеди.

Как это ни странно, при не очень религиозном православном отце и матери-католичке Владимир с детства пристрастился к Церкви. То, что отец его везде сопровождал, о чем было сказано выше, в частности, в походах по киевским монастырям и храмам, не было личным желанием отца, но сына. Иконников вспоминал, что это «церковное пристрастие» развилось, как результат вдохновенного восприятия церковного пения, особенно в Братском Богоявленском монастыре, в стенах которого находилась Киевская Духовная Академия, и в Софийском соборе на службах митрополита<sup>30</sup>. Эта важная для развития эмоционального и духовного мира подростка деталь – влияние церковного пения – станет серьезным стимулом внутреннего развития чувств, притом в замкнутом для других мире юноши. И эти чувства могли в нем проявляться в социуме лишь во время слушания церковного пения, которое «настраивало» чувственный мир без видимого «излияния» его в социум, без публичного проявления. В церковном пении душа благоденствовала, становилась открытой и наполнялась энергией, остающейся известной только самому Владимиру.

Еще одно детское воспоминание объясняет позднейшие религиозно-церковные устремления Иконникова и позволяет

<sup>&</sup>lt;del>30</del> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 7 об. – 9 об.

отрицать какие бы то ни было измышления в отношении девиантной этической составной (сексуальности, эротизма) публикуемой переписки с другом: «Кажется, я был уже 7 лет, когда впервые обратил внимание на то место в Символе Веры, где говорится о воскресении мертвых, и объяснение его произвело на меня глубокое впечатление»<sup>31</sup>. Воскресение мертвых ожидается во время Страшного Суда каждого за все его грехи. И вот уже детское понимание этого, как и знание понятия «грех», накладывали табу на любые проявления безнравственности.

Пробудившийся в детстве интерес к религии и Церкви привел к тому, что подросток лично знал ректоров киевских духовных школ: семинарии – Антония (Амфитеатрова) и Нектария, академии – Димитрия (Муретова), того же Антония (Амфитеатрова) и инспекторов Леонтия и Иоанникия<sup>32</sup>.

Вместе с тем, Владимир видел «самые грубые сцены наказания гарнизонных солдат» во время их учений, что не способствовало его устремлению к военной карьере. Он готовился и надеялся, как и старшие братья, обучаться в гимназии. Но, по словам Иконникова, все решительно повернулось в неожиданном направлении: «Так я мирно и тихо проводил детство, когда нежданное обстоятельство выбило меня из колеи»<sup>33</sup>. Итак, весной 1851 г. Владимир прошел испытательное собеседование для поступления в первый класс Первой киевской гимназии (в Липках), как вдруг непредвиденное обстоятельство «перевернуло мою судьбу»<sup>34</sup>. Отец решил отдать сына в открывшийся Киевский кадетский корпус, поскольку имел право обучать там сына на казенный счет. Старый вояка ради «казенного счета» готов был превратить сына в кого угодно. Кроме того, Владимир-первый был юнкером, посему и Владимир-второй должен был, как единственный из троих живых сыновей, продолжить военную карьеру деда-прадеда и отца. Вот это ломанье мальчика под «свой ранжир» стало важным моментом его эмоционального мира - подавленного, подверженного авторитарному влиянию, замкнутого,

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-9 об.

<sup>32</sup> Там же. Л. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Там же. Л. 9 об.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Там же. Л. 15.

способствующего выработке нерешительного и подчиняемого, «тишайшего» характера. Это станет одним из важнейших факторов привязанности Владимира к новому другу, которому можно было открыться и обсуждать любые вопросы, не боясь строгого выговора, резких указаний, постоянного надзора. Ясно, что появление близкого по душе и сердцу человека, практически ровесника (Каневский был младше лишь на четыре года), переросло не только в братскую дружбу, но и во влюбленность, граничащую с желанием «присвоения» другого человека (в письмах Иконников ретроспективно будет каяться в своем «деспотизме»).

И вот в конце 1851 г. Владимир должен был отправиться в корпус – закрытое военное учебное заведение. «Известие это меня сильно смутило», – вспоминал Иконников<sup>35</sup>. Ему было 10 лет, он очень волновался и плакал, боясь оставить дом и оказаться среди совершенно чужих людей. Но так решил отец, мать не могла повлиять на это решение. Позже старший брат Николай говорил отцу, что осуждает его поступок, но было поздно. Брат «признавал меня непригодным для военной службы», однако всем «пришлось покориться» властному отцу<sup>36</sup>.

Киевский кадетский корпус получил имя Владимирский в 1857 г. (в честь внука основателя корпуса Николая I – Владимира Александровича), но это никак не отразилось и не повлияло даже символически на юного кадета Владимира Иконникова. Корпус официально был торжественно открыт 1 января 1852 г. сначала в здании Первой киевской гимназии и лишь в 1857 г. переместился в свои помещения в Кадетской роще<sup>37</sup>. Фактически Владимир Иконников попал в число кадетов «первого приема». Корпус получил специальное знамя и принял в 1859 г. участие в параде перед Александром II, о чем вспоминал также Иконников (от долгого ожидания и жары он потерял сознание в строю кадетов).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> См.: Завадский Н.П. Владимирский Киевский кадетский корпус. 1851–1901. Исторический очерк. Киев, 1901; Котляров А. На память 50-летнего юбилея 1852–1902 Владимирского Киевского кадетского корпуса. Киев, 1904; Кадетские корпуса XIX – нач. XX вв.: украинское измерение (система обучения и воспитания) / сост. А.Г. Барадачев, В.В. Цыбулькин, Л.Н. Рожен. Киев, 2012.



<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Там же. Л. 15 об.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Там же. Л. 15 об.

В мемуарах Иконников подробно описал все руководство, наставников и вообще персонал корпуса<sup>38</sup>. В его воспоминаниях все эти лица получили далеко не блестящие характеристики. Однако мы не можем воспринять эти характеристики за взгляд кадета, но лишь как позднейшую оценку зрелого человека. А вот в чем мемуаристу Иконникову можно доверять, так это в описании процесса обучения и воспитания. Во-первых, он указал на слабость собственно военной подготовки кадетов: «По военной части дело далеко не шло: ружейные приемы, маршировка через день (через день с танцами и гимнастикой) - вот и все, так что, выйдя, кадеты не знали самых обыкновенных требований военного устава (например, отдачи чести оружием и пр.)»<sup>39</sup>. Во-вторых, относительно учебной части также были проблемы, главным образом, из-за отсутствия постоянных наставников, поскольку привлекались лишь наемные. Но именно в этом был и позитив, поскольку в корпусе преподавали некоторые профессора Университета Св. Владимира и других киевских учебных заведений (всего -11 человек) 40. В частности, грамотно писать и излагать свои мысли Иконникова, как и остальных кадетов, смог научить гимназический преподаватель Н.Д. Богатиков<sup>41</sup>. Публикуемые письма Владимира - свидетельство тому. Историю литературы в старших классах преподавал проф. А.И. Селин, «красноречие которого увлекало многих, и к нему являлись из других классов, хотя за это и доставалось»<sup>42</sup>. Математику преподавал М.Е. Ващенко-Захарченко, позже также университетский профессор<sup>43</sup>. Иконников констатировал, что много времени отводилось естественным наукам: химии (В.К. Пилипенко), ботанике (проф. А.С. Рогович), зоологии (Д.-Н.Н. Heese)<sup>44</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 23-24, 37.



<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 15-51 об.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Там же. Л. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Там же. Л. 21-21 об.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Там же. Л. 22-22 об.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Там же. Л. 22 об. Его биографию см.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884) / сост. В.С. Иконников. Киев, 1884. С. 588–599.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884. С. 94.

Особо важным для нас является воспоминание Иконникова о преподавании в корпусе истории. Он писал, что «история долго не имела хороших преподавателей. П.П. Должиков и И.М. Звонников держались близко учебников; дерптский немец улан Краузе ... мог усыплять анекдотами ... Проф. А.И. Ставровский 45 любил ходить по классу и только объяснять по своему исторические мелочи»<sup>46</sup>. Мемуарист выделил лишь одного преподавателя истории: «Янсон излагал хорошо и даже заставлял кадет переводить лучшие учебники» (Вернера, Лоренца), «а вместо обветшалых курсов Петрова, Шульгина, по средней истории Ставровского – служил Стасюлевич» 47. Позже (во втором специальном классе) историю преподавал университетский профессор С.С. Гогоцкий, «который старался внести в сообщения философский взгляд на события, что было некоторою новостию среди пустыни»<sup>48</sup>. Гогоцкий был гегелианцем и сторонником историко-философского направления мысли, автором многочисленных трудов по философии<sup>49</sup>. Именно Гогоцкий обратил внимание Иконникова на книгу Щапова о никонианском расколе $^{50}$ , «которую я тогда же приобрел, как и сочинение Лоренца<sup>51</sup>. Беккер<sup>52</sup> у меня уже был,

<sup>52</sup> Беккер Карл Фридрих. Древняя история. Санкт-Петербург, 1843.



<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> См:. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884). С. 622; Кравец Ф. Ставровский, Алексей Иванович // Русский биографический словарь: в 25 томах. Т. 19. Санкт-Петербург; Москва, 1909. С. 310–311.

 $<sup>^{46}</sup>$  ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 23 об. – 24. Проставленные курсивом инициалы введены в текст мною.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Там же. Л. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Там же. Л. 24 об.

<sup>49</sup> См. о нем: Фицик І.Д. С.С. Гогоцький як історик філософії: Автореф. дис. ... канд. філос. наук. Київ, 1996; Ткачук М.Л. Київська академічна філософія XIX – поч. XX ст.: методологічні проблеми дослідження. Київ, 2000; Її ж. Теоретичні і методологічні проблеми історико-філософського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. Сер.: Філософія та релігієзнавство. Т. 19. Київ, 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Щапов А.П. Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием Русской Церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Казань, 1859.

 $<sup>^{51}</sup>$  По-видимому, речь шла о «Руководстве ко всеобщей истории» Ф.К. Лоренца (Санкт-Петербург, 1841 и др. издания).

а равно Гус и Лютер Новикова<sup>53</sup>». Как видим, большинство этих книг было посвящено всеобщей истории, притом древней и средневековой. Этот интерес никогда не оставит Иконникова, даже докторскую диссертацию он построит на рассмотрении реминисценции Византии в культурном развитии Руси (Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869). Эти книги он будет рекомендовать к чтению и в письмах к Каневскому. В них много исторической драмы, человеческих трагедий, любви и предательств, описанных литературным языком. Это еще один фактор некоей «драматизации» размышлений кадета относительно собственной жизни и отношений с другом. Скрытость переживаний с раннего детства развила во Владимире потребность к придумыванию ситуаций, мысленных «разговоров» и «споров» с разными людьми, вымышленных сцен и пр. Это станет на долгие годы важной чертой его характера, проявленной как в письмах к Каневскому, так особенно в длиннющих письмах к невесте Анне Родзевич, в которых драматические сцены его и ее возможных «измен», «связей» и «влюбленностей» заполняют десятки страниц.

Однако особое влияние на историческое развитие Иконникова, по его словам, оказал все же М.Н. Карамзин (его «История государства Российского» в 12 томах) - «я готовился по нему к урокам и никогда уже не расставался с ним, испещрил заметками»<sup>54</sup>. Очень важный факт, поскольку показывает главный источник знаний юного Иконникова по истории России (ведь, по словам А.С. Пушкина, «древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка - Колумбом»), а, кроме того, еще и источник его языковых преференций, поскольку Карамзин считается родоначальником сентиментализма в русской литературе (его «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» также были хорошо известны кадету) с доминантой чувств над разумом, с идеей сопереживания. Именно из лексикона Карамзина распространились слова «влюбленность», «вольнодумство», «утонченность», «человечность» и прочие, столь полюбившиеся Иконникову. Это последнее нашло свое сильное проявление в письмах обоих дру-

 $<sup>^{53}</sup>$  Новиков Е.П. Гус и Лютер. Москва, 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 37 об. – 38.

зей. Да и «История государства Российского» написана хорошим литературным слогом. Лишь многочисленные примечания с цитатами из источников казались тяжеловесными, но они приучали (в том числе Иконникова) к пониманию, на чем строятся исторические знания, к «фундаментализму» и «фондированию» исторического мышления юноши, а также к вниманию к самым мелким эпизодам и «мелочам» исторического процесса, что исподволь переносилось юношей и на реальную жизнь. В своих дальнейших научных трудах он значительно «перекроет» примечания и комментарии Карамзина огромным количеством и масштабом своего научного аппарата.

Иконников стал следить за историческими книжными новинками: он сразу по выходе купил книгу Эрнста Курциуса «История Греции. 1857», историю Востока Георга Вебера (Всеобщая история. Т. 1: История Востока. 1857), «и др. – я стал приобретать их, делал конспекты и таблицы по всеобщей истории, сохранившиеся до сих пор»55. Затем Иконников купил новый курс всеобщей истории (Курс истории древнего мира. Киев, 1856; Курс истории средних веков. Киев, 1858; Курс истории новых времен. Киев, 1861) Виталия Шульгина (хотя критиковал его курс средневековой истории и вообще личность автора в письмах к Каневскому, который приходился отдаленным родственником Шульгина). В мемуарах он дал прямо противоположную оценку этим учебникам для своего развития: «Прекрасное живое изложение и общая точка зрения значительно осветили мое историческое мировоззрение, и когда потом их стали заменять другими, более простыми, я считал это напрасной и жалкой попыткой упрощения истории и боязнью ее освещения»<sup>56</sup>.

Итак, круг чтения юного Иконникова по истории всеобщей и, отчасти, русской был довольно широк на фоне того, что читали другие кадеты. Он не только получил некое историческое образование в кадетском корпусе, но активно занимался саморазвитием, особенно ориентируясь на обобщающие новые исторические труды известных авторов. Этот круг чтения некоторым образом проявился и в переписке с Каневским – как в



<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Там же. Л. 41–41 об.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Там же.

рекомендации другу указанной литературы для чтения, так и в прямом или скрытом цитировании отдельных мест из названных сочинений. До начала переписки с Каневским Иконников был довольно «продвинутым» в сфере исторических познаний юношей, тогда как в военном искусстве, как писал сам в мемуарах, был «полным профаном». Это гуманитарное направление общего развития и мыслительного процесса Иконникова достаточно сильно отобразилось в его юношеской переписке с другом, особенно в философских рассуждениях о смысле жизни, «жизненной борьбе», предназначении человека, моральных устоях, силе человеческих чувств и пр.

История постепенно отодвинула на второй план церковность и вообще религиозность, мысль о монашестве «растворилась» в исторических интересах и стремлении к познанию прошлой жизни для более глубокого понимания современности. Тем не менее, интересны воспоминания Иконникова о преподавании Закона Божия. В корпусе этот предмет преподавали православный священник и католический ксендз, поскольку, как и в университете, здесь обучалось немало поляков. По словам Иконникова, «преподаватели Закона Божия мирно уживались между собою ... Оба они не были фанатиками. Петр Каризна мог бы преподавать Закон Божий на турецком языке, как он преподавал на русском. Начальство наше индифферентно относилось к церковному разномыслию, так что на экзаменах православных посылали к ксендзу, а католиков к Колесову и католики предпочитали идти к последнему, так как он щедро ставил отметки, а ксендз даже сбавлял на 2 и 3 балла ... Протоиерей Колесов на уроках не задавался высшими соображениями, но объяснял, если что нужно было, больших же разговоров не любил»<sup>57</sup>.

Именно в связи с этими замечаниями об уроках Закона Божия в корпусе Иконников описал свой более ранний опыт религиозных переживаний. Он вновь подчеркивал, что увлекался исключительно церковным пением. Историк вспоминал: «Живя в доме брата (на Спасской улице), в двух шагах от Братского монастыря, я сделался постоянным его посетителем. Я увлекался церковным пением, а тогда во главе хора стояли такие мастера, как Чумачев-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> ГАРФ. Ф. 7353. On. 1. Д. 3. Л. 27-27 об.

ский (впоследствии регент придворной капеллы) и Экземплярский, потом епископ Чигиринский и архиепископ Варшавский Иероним»<sup>58</sup>. Его религиозность усилилась в связи со смертью матери (1855), регулярным посещением Братского монастыря «и недовольством своим положением» – это «все более склоняло меня к мечтательности и религиозному ритуалу»<sup>59</sup>. Постепенно, как вспоминал Иконников: «У меня зародилась мысль, не поступить ли и мне в Академию, и даже больше - монашество стало рисоваться мне, как идеал, а строгий церковный режим еще более стал поддерживаться» 60. Неким внешним стимулом для этого были постоянные встречи с религиозными Богатиковым, его сестрой и матерью. Иконников вспоминал: «Я накупил кучу церковных книг, от служебника до монашеских правил, и, прохаживаясь в садике дома брата, заучивал их наизусть, и в корпусе и дома стал соблюдать строгий пост, даже по средам и пятницам, ограничиваясь иногда куском хлеба и водою»<sup>61</sup>. В мемуарах Владимир Степанович указал еще один стимул своего стремления к монашеству: «В этом направлении поддерживало меня еще появление двух молодых монахов: Мефодия и Кирилла (Александровского) из студентов Академии. Первый был блондин, очень худой, второй шатен, очень красивый, и я думал – подражать им. Я хотел даже познакомиться с последним, но это не удалось. Так продолжался год (1859-1860) ... Между тем приехал из Петербурга новый инспектор, иеромонах Валериан, высокий ростом с звучным голосом и не менее красивый, чем Кирилл (...). Увлечение мое закончилось тем, что я даже написал небольшую пьесу, героем которой являлся тот же Кирилл»<sup>62</sup>. То есть, интерес юноши к монашеству был связан еще и с тем, что он увидел не только старых, но и молодых монахов, само появление которых показывало юноше, что молодым также доступен этот ангельский чин и подвиг. Кроме того, его привлекала внешность этих «образцов» для подражания.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Там же. Л. 44 об.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Там же.

<sup>60</sup> Там же. Л. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Там же. Л. 45-45 об.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Там же. Л. 45 об.

Итак, Иконников серьезно готовился к церковной деятельности. В мемуарах он писал: «У меня были сочинения Тарасия и «Мир духовный», «Аскетический паломник» и четки; в корпусе я читал богословие иеромонаха Антония (Амфитеатрова) - весьма суровое и епископа Макария (Булгакова) - весьма ученое и в мягком тоне, а также «Семь слов на кресте Иисуса Христа» Иннокентия Борисова, красиво написанное»<sup>63</sup>. Подчеркнем: опять таки, избранный Иконниковым путь познавался, главным образом, через книги. При том, юный кадет целенаправленно покупал книги именно с этой целью - познания веры, религии, Церкви. Более того, в корпусе у Иконникова оказался единомышленник на пути в монашество - Рудыковский, который позже стал монахом Киево-Печерского монастыря. Однако все это постепенно ушло на второй план, Иконниковым завладел интерес к истории, а через нее и к светской жизни, как проявлению собственного предназначения. Посему, если в начале знакомства с Каневским они немало говорили о религии, и об этом Иконников пишет в письме-исповеди, поскольку оба были религиозны, то дальше эта тематика совсем исчезла, получив исключительно светское проявление. А в письмах к невесте религиозная сторона жизни вообще отсутствует, единственное исключение - приписка к одной из эпистолий: «Напрасно в делах человеческих ты употребляешь богословские термины вроде: неслиянно и нераздельно. Такие противоречия понятны только богословам»<sup>64</sup>.

Но самые живые воспоминания Иконникова посвящены репетиторам, которые занимались с кадетами после уроков. Он особо выделил Бжеского (Бржезицкого?), который в классе «читал вновь выходившие произведения литературы и мастер был читать стихотворения, преимущественно из популярного тогда журнала «Русский вестник», или приносил какого-нибудь писателя. Для нас это был настоящий праздник, тем более, что он обращался по-товарищески, беседовал по прочитанному или что-нибудь рассказывал» 65. По словам Иконникова, под влиянием художественного чтения стихов воспитателем «я увлекся

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 46-46 об.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 359. Л. 5 об. – 6.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.

было в область поэзии, стал писать стихи и поэмы, которыми делился» 66. И, конечно же, он увлекался Лермонтовым и Пушкиным, при этом томик Лермонтова кадет купил и читал его ранее произведений Пушкина. Описав это, мемуарист заметил: «Влечение к чтению поэтических произведений осталось у меня на всю жизнь» 67. Поэтические наклонности также сблизят Иконникова и Каневского. Иван создаст две тетради стихов, которые будет читать и хвалить Иконников, а Владимир даже в письмах к другу будет цитировать не только известных поэтов (например, Огарева), но и свои собственные, хотя и не сохранит их в своем архиве (наверное, из-за особой чувственности). Для обоих высказывать свои мысли и «нежные чувствования» в стихах стало нормой и заменяло долгие объяснения – в стихах можно было сказать больше и откровеннее, нежели в прозаическом нарративе.

Более того, Иконников решил издавать рукописный журнал «Пробуждение», однако, понимая политическую неоднозначность названия, заменил его на «Друг просвещения». Вышел всего один номер этого журнала, поскольку трудно было переписывать статьи в десятках экземпляров и за этот труд нечем было платить исполнителям (сам Иконников имел очень плохой почерк)<sup>68</sup>. Эта еще одна творческая наклонность Владимира способствовала развитию в нем литературного таланта, что отразилось и в его письмах (стиле изложения, самом литературном языке, многочисленных цитатах из классиков – писателей и поэтов).

Любовью к чтению выделялись кадеты-поляки. Именно у них Владимир увидел и прочитал Мицкевича, поэму Рылеева «Войнаровский» и пр. Среди поляков-кадетов он имело несколько знакомых, с которыми также переписывался даже после окончания корпуса, некоторые из них принимали участие в польском национальном движении, но на Иконникова эта сторона их деятельности, судя по всему, никак не повлияла<sup>69</sup>. Вообще же, по словам Иконникова, «лишь некоторые из воспитанников

<sup>66</sup> Там же. Л. 37.

<sup>67</sup> Там же. Л. 37-37 об.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Там же. Л. 51 об.

<sup>69</sup> Там же. Л. 31 об. – 32, 35–35 об.

любили почитать, но большинство занималось пересудами, относилось апатически к серьезным влечениям, предавалось картам и т. п.». Таким любителем чтения оказался и Каневский, что также способствовало их сближению, особенно благодаря общим интересам и одним и тем же книгам, содержание которых и главные герои литературных произведений воспринималось друзьями «на одной волне».

В 1859 г. Иконников закончил обучение в общих классах и перешел в 1-й специальный (в специальных классах занимались особой военной подготовкой к службе); после произведения в унтер-офицеры его перевели во вторую роту. Именно здесь, как писал Иконников в мемуарах, он «сблизился с Каневским». Так началась их дружба. В мемуарах Владимир Степанович очертил суть этой дружбы так (напомню ранее цитированное): «с которым часто беседовал в свободное время о всех происшествиях, вопросах и темах». Прибавив к этому важное обстоятельство, о котором не говорится в сохранившихся письмах: «в знак дружбы он мне подарил свою награду» – несколько исторических книг (о политических переворотах в истории Европы авторства Анселоне, «Этюды Шлейдена», «Историю Университета Св. Владимира» В.Я. Шульгина). Как видим, и в этом случае речь шла именно об исторических трудах. Следовательно, Каневский, зная об интересе и устремлении друга, подарил ему все книги по истории из своей библиотечки. Это еще один символ их глубокой дружеской связи с учетом и пониманием интересов друг друга.

В целом, по воспоминаниям Иконникова, в корпусе «атмосфера становилась все удушливее ... И я стал все более зарываться в книгу»<sup>70</sup>. Постепенно появилось желание любой ценой попасть в университет. Этому способствовало знакомство Иконникова со студентом-медиком Маренкони, который был репетитором детей брата. Он «поддержал в мысли об университете». В то время для поступления в университет нужно было сдать экзамены за гимназию, в том числе латинский язык, который не изучали в корпусе. Иконников самостоятельно стал учить латынь: «Я купил Кюнеха и стал зазубривать правила латинского языка. В сомнительных случаях обращался к учителю Звонникову, кото-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 47-48.

рый посещал меня в корпусе, а дома – Маренкони»<sup>71</sup>. По совету последнего Иконников был на приеме у попечителя Киевского учебного округа, известного хирурга и педагога Н.И. Пирогова, который и выхлопотал для него разрешение на сдачу экзаменов за гимназию для получения права вступления в университет<sup>72</sup>.

Весь этот путь Иконникова к университету («университетской идее», как писал он сам) был наполнен работой над собой. Уже тогда проявился его «немецкий характер» упорного труда для достижения цели, что будет закреплено идеями Шлоссера – непререкаемого авторитета для Иконникова на протяжении многих лет. Постоянная работа над собой, над своим умственным и профессиональным развитием – неотъемлемые черты характера кадета, ставшие определяющими для самой личности Иконникова. Они проявились и в переписке с Каневским, в частности, в сохранившихся его письмах в Петербург, в которых он постепенно «берет себя в руки», заглушая отчаяние и разочарование в напряженной работе с книгой и историческими изысканиями.

Именно в это время, на пороге воплощения «университетской идеи», Иконникову пришлось проститься с Каневским, который уезжал в Санкт-Петербург. С большим напряжением чувств и душевной болью Владимир проводил Ивана до Броваров, впав в депрессию и отчаяние. Сам же Иконников 10 июня 1861 г. был выпущен из кадетского корпуса подпоручиком 4-го резервного батальона Подольского технического полка. В мемуарах Иконников сделал заметку о символическом снимке того времени, на котором он в мундире, но с книгой в руках: временно военный и вскоре – постоянно совершенствующийся ученый<sup>73</sup>. Тогда же он формально (фактически это произошло еще в корпусе) покончил с идеей о монашестве и все свои религиозные книги подарил жене брата. А сам, как вспоминал, взялся за чтение Гончарова и писание дневника.

Ценное замечание того времени представляют строки из письма-исповеди другу: «Странно, однако весьма замечательно, что развитие во мне идеи религиозной и идеи университетского



<sup>71</sup> Там же. Л. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Там же. Л. 49–49 об.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Там же. Л. 50 об.

образования шло одинаковым путем. Как там, так и здесь противодействие внешней силы вызывало во мне сильнейшую потребность в удовлетворении тою или другою идеею».

Во время начала военной службы Иконников, собственно, и переписывался с Каневским. Ему повезло: командиром батальона был полковник А.Н. Челищев, который благосклонно относился к стремлению Иконникова обучаться в университете и разрешил ему посещать лекции в качестве вольнослушателя, нередко «закрывая глаза» на его опоздания из-за этого на службу. Более того, как вспоминал Иконников, «при нашем батальоне существовала довольно хорошая библиотека, и офицеры усердно читали», а некоторые цитировали наизусть тирады Юлия Цезаря и тексты Тацита. Иконников с удовольствием вспоминал: «Скажу вообще, что состав офицеров был очень порядочный. Большая часть их любила читать и не обижалась, что я увлекаюсь университетом; даже поощряли мою наклонность»<sup>74</sup>. Однако с переводом батальона в Полтаву Иконникову, чтобы не оставлять Киев, пришлось поступить в Модлинский батальон, где атмосфера была другая. Посему Владимир втайне от отца подал в отставку в надежде стать полноценным студентом Университета Св. Владимира<sup>75</sup>. Он засел за книги, особенно новейшие издания. В мемуарах он писал: «В 1861-62 гг. стали выходить издания Тобиена по истории и политической экономии (Маколей, Курсель-Сонелль и т. д.), Бакета, Гервинца, Гарнье-Паж, Савиньи, Соленвича, Шлоссера и многие другие. Все это тот час приобреталось и постепенно прочитывалось мною. Рамер мне понравился многочисленными историческими примечаниями и был полезен в будущем. Тогда же появились весьма полезные книги Гильбрандта ... В 1860 г. появилось в Киеве произведение местного философа Ор. Новицкого «Постепенное развитие философских учений в связи с религиозными верованиями», поруганное в «Современнике», но для меня оно было полезным по многим вопросам древней философии и религии. Тогда же я стал читать «Историю философии» Куно Фишера, и вообще это приблизило меня к философии истории, которой занялся позже (...) Знакомство с французским языком я

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 3. Л. 53 об.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Там ж. Л. 57 об.

поддерживал чтением 5-томной «Истории цивилизации в Европе и во Франции», а с немецким по Шиллера «История 30-летней войны» и «История Нидерландов»<sup>76</sup>. Кроме того, Иконников стал коллекционировать букинистические издания («в моей библиотеке попадались ученые редкости»), подробно перечислив все старые и редкие (малотиражные) книги<sup>77</sup> (не берусь воссоздавать длинный список, не рискуя впасть в неправильное прочтение фамилий авторов, поскольку старческий почерк Иконникова хуже египетских иероглифов).

Но вот что важно для общей оценки направления интеллектуальных интересов Иконникова, – и это он сам подчеркнул в мемуарах: «Все это втягивало меня в курс всеобщей истории, которою я не переставал интересоваться до последнего времени, и в своих сочинениях всегда уклонялся к историческим параллелям. По-французски я штудировал Гизо, по-немецки исторические монографии Шиллера (30-летняя война, Нидерланды), «Сущность религии» и «Сущность христианства» Фейербаха и некоторые брошюры» Все это, особенно же огромное количество новых и старых изданий, которые следовало проштудировать, сделать выписки, закладки и прочее, развивало интерес к общей истории человечества и постепенно отвлекло Иконникова от душевных переживаний из-за изменения отношений с Каневским. Кроме того, он читал «Колокол», и это влияло на его оценку общественных отношений.

Постепенно Иконников стал склоняться к занятиям русской историей. Он приобрел первые тома «Полного собрания русских летописей» и первые тома «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева. Так, по словам самого Иконникова, он «стал больше знакомиться с русской историей, выписи из которых (т. е. названных трудов. – В. У.) и переводы из иностранных писателей до сих пор сохранились уже в изношенном виде. И все таки, изучение ее (российской истории. – В. У.) не являлось пока моей специальностью», хотя многотомник Соловьева вызвал

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Там же. Л. 57 об. – 58.

<sup>77</sup> Там же. Л. 58, 66 об. – 67.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Там же. Л. 58 об. – 59.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Там же. Л. 67.

восхищение – «я зачитался им»<sup>80</sup>. Все эти «сдвиги сознания», укрепляющие развивающийся научный интерес к истории, происходили параллельно с перепиской с Каневским. При том, чем холоднее и прозаичнее становилась эта переписка, тем больше Иконников углублялся в мир истории, главным образом, истории Западной Европы с неким сегментом российской истории. Он немного, но все же писал об этом и своему другу.

Более того, на короткое время он даже взял уроки истории в юнкерском училище. Весьма ценно воспоминание Иконникова об одном (и единственном в мемуарах) эпизоде этого преподавания: «Припомню один факт. На одном из уроков по XVII веку, когда пришлось говорить о времени Алексея Михайловича и о Б. Хмельницком, то двое из юнкеров попросили дать им список авторов, я назвал нескольких по памяти, а на другой урок принес полный список. Это был первый мой случай встречи с украинством, правда, в легкой форме»<sup>81</sup>. Реально во время указанного первого опыта преподавания Иконников понятия не имел об украинстве, его оценка приведенного факта, конечно, имеет ретроспективный характер, важно лишь то, что он о нем все-таки вспомнил, вновь подчеркну, как о единственном конкретном факте своего раннего преподавательского опыта.

Весной 1862 г. Иконников сдал экзамены при Второй киевской гимназии и был зачислен на второй курс историко-филологического факультета Университета Св. Владимира на основании справки о прослушанных лекциях первого курса<sup>82</sup>. Фактически, во время публикуемой переписки с Каневским Иконников уже был студентом университета. Напомню, его ранняя переписка в Каневским «киевской поры» не сохранилась.

Итак, ИСТОРИЯ как объект интереса, знаний и начала научных изысканий стала тем делом, которое «спасло» Иконникова от полного отчаяния из-за утраты бывшей «чувственной дружбы» с Каневским. Владимир сам писал Ивану, что только это дело его «не предаст». Погружение в историю развивалось параллельно с разочарованием в живых людях, главным репрезен-



<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 2. Л. 18 об.

<sup>81</sup> Там же. Д. 3. Л. 67-68 об.

<sup>82</sup> Там же. Л. 79 об.

тантом которых в то время для Иконникова был Каневский. История их развела, чтобы через десятилетия вновь «свести»: Каневский читал все публиковавшиеся труды Иконникова, а после возобновления отношений некоторые свои работы ученый дарил старому другу.

Кроме того, молодой Иконников времен переписки с Каневским с головой окунулся и в литературу (художественную и публицистику). В мемуарах он писал: «Литературы я нигде не забывал: в корпусе я прочел два романа, оставившие во мне глубокое воспоминание: «Хижина дяди Тома» Гарриэт Бичер-Стоу и «Пелэм, или приключения джентльмена» Эдварда Бульвер-Литтона. Из русских я читал «Тысяча душ» А.Ф. Писемского, при появлении в «Отечественных записках», и «Что делать» Н.Г. Чернышевского в «Современнике». Прочитывались и все повести новые Тургенева». Все эти тексты оставили неизгладимый след в юной душе кадета. Они выработали определенные клише в оценке других людей, отношений между ними. Используя запомнившиеся фразы и сюжеты, деяния отдельных героев, Иконников наполнял ими свои письма, и не только к Каневскому, но позже (буквально через 2–3 года) и к своей невесте – Анне Родзевич.

Таким образом, до начала «петербургской» переписки с Каневским Владимир Иконников был достаточно интеллектуально развит, имел явную склонность к изучению истории (в то время, по большей части, всеобщей, а не российской), хорошо владел пером и стилем, его мысли и чувства были наполнены образами из общеизвестных литературных произведений. При этом именно литература развила в нем чувствительность и эмоциональность, которые долго «прятались» в глубинах его души, поскольку в кругу близких ему лиц, особенно в семейном, не было человека, с которым можно было бы обсуждать эту эмоциональную чувствительность. И как только он нашел/встретил такого человека, т. е. Каневского, именно на него «выплеснулась» вся та эмоциональная чувственность, накопленная годами и бурлившая во Владимире. Все это, по моему мнению, объясняет и стиль, и пафос, и само содержание писем Иконникова к другу.

## Дружба: радости, разочарования, испытания

Самое сложное для нас – объяснить эту «чувственную дружбу и нежные чувствования» Иконникова и Каневского. Сложно не само по себе, – сложно объяснить именно современному человеку, у которого уже существует стереотип понимания и оценки очень близкой дружбы двух юношей. Попытаемся «увидеть» ее суть глазами их обоих через призму публикуемой переписки.

Сначала взгляд Ивана Каневского. Но кто он такой вообще? Об Иване Яковлевиче Каневском нам известно немного (поскольку архивы военных ведомств, в которых он служил и где должны храниться его личные дела, нам в настоящее время недоступны). Итак, что же о нем известно из открытых источников? Иван Каневский родился 11 января 1845 г., следовательно, был на четыре года младше Иконникова. Его отцом был врач Яков Иванович, в семье которого родилось четверо детей и все сыновья стали кадровыми военными, полковниками, а Иван - генералмайором. Иван обучался в Киевском кадетском корпусе до 1863 г., затем в 1-м военном Павловском училище в Санкт-Петербурге, из которого был выпущен подпоручиком в 1864 г. Сначала служил в Кавказском военном округе. С 1875 г. – капитан, с 1879 г. – подполковник, с 1891 г. – полковник и с 1900 г. – генерал-майор. Его служба проистекала следующим образом: осматривающий оружие в войсках Закавказского военного округа (с 1878 г.), командир 4-й батареи 39-й артиллерийской бригады (с 1893 г.), командир Кавказского строевого артиллерийского дивизиона (с 1898 г.), командир 39-й артиллерийской бригады (с 1899 г.), начальник артиллерии Одесского военного округа (1902–1905 гг.). Сохранились его письма к Иконникову позднейшего времени (до 1914 г. включительно), о которых и о его собственных оценках своей судьбы скажем специально ниже. Именно из этих писем известно, что Каневский после отставки переехал на родину, в Пятигорск, где, повидимому, и жил до самой смерти, дата которой мне неизвестна<sup>83</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Краеведческая литература не содержит искомой информации: Энциклопедический словарь Ставропольского края. Ставрополь, 2006; Пятигорск в исторических очерках. История города с древнейших времен до 1917 г. Пятигорск, 2014; Пятигорск в исторических документах. 1843–1917. Ставрополь, 1985; Маркелов Н.В. Кавказские силуэты. Пятигорск, 2006; Богла-



Здесь же следует упомянуть об опубликованном художественном произведении Каневского (под псевдонимом К.А. Невский) «Университетский обед» (Отечественные записки. 1879. №4. Апрель. С. 463–480), о котором также упоминал в мемуарах В.С. Иконников. Фабула рассказа посвящена обеду сокурсников К-ого университета в доме прокурора окружного суда Петра Николаевича Барского. В дальнем углу ящика своего стола перед приходом гостей он внезапно нашел пачку бумаг студенческой поры, и среди них письмо, чтение которого «кольнуло сердце». Это было письмо брата Евгения, который писал о разлуке и расхождении с будущим прокурором, поскольку автор письма не послушал брата, был идеалистом и, оставив все, ушел в деревню. Однако он не смог там физически работать, запил и, находясь в безвыходном положении, просил брата найти ему место письмоводителя. Петр решил не отвечать Евгению. Прошло 12 лет, о нем ничего не было известно. Письмо навеяло воспоминания о брате и разговор о нем с женой прокурора. И вот накануне званого ужина, 31 декабря, пришел оборванец, которого Петр не узнал, а это был Евгений, очень больной. Он не получил от брата помощи и ушел ни с чем. Пришли гости, стали трапезничать, вспоминать прошлое. А Петр провозгласил речь, в которой как бы разговаривал с братом Евгением. В этом рассказе, возможно, было что-то автобиографическое. Но в нем проскальзывала и некая «тень» переписки с Иконниковым, которая так внезапно оборвалась и была возобновлена по инициативе Каневского также чуть ли не через двенадцать лет.

Теперь вернемся к переписке Каневского с Иконниковым. Поскольку несколько более ранних писем Каневского сохранилось в архиве Иконникова и они не столь «закрыты», как позднейшие ответы киевского друга, именно в них присутствуют очень

чев С.В. Архитектура старого Пятигорска. Пятигорск, 2012. Обращения за справками в Государственный архив Ставропольского края и Пятигорский краеведческий музей остались без ответов. Личное дело И.Я. Каневского должно храниться в одном из фондов (ф. 489 – формулярные списки о службе; ф. 409 – послужные списки) Российского государственного военно-исторического архива, доступ к которому, к сожалению для меня в настоящее, как, по-видимому, и в будущее время, закрыт.



непосредственные нотки их любящей дружбы. В этих четырех первых письмах, отправленных с дороги в Петербург, после прощания в Броварах, Иван очень нежно обращается к Владимиру, называя его «дорогой мой» (15, 21 августа 1863 г.), «мой милый» (23 августа, 15 сентября 1863 г.), «любящий тебя» (15 сентября, 1 октября 1863 г.), «целую тебя, дорогой мой друг» (30 августа 1863 г.), «целую тебя» (6 сентября 1863 г.). Эти маркеры чувств, конечно, свидетельствуют о том, что оба адресата были очень привязаны друг к другу эмоционально. При этом Иконников лишь единожды (2 октября 1863 г.) написал: «целую тебя взаимно». Но в письме-исповеди его обращение не менее эмоционально, да еще и с восклицательным знаком: «мой друг, душа моя!». Интересно, что в переписке с невестой он констатировал, что Анна в письмах послала «уже более 50 поцелуев, а Володя только два, и то как-то нерешительно», оправдывая это «нежеланием оскорбить тебя»<sup>84</sup>. Его обращения к невесте также не были поначалу энергичны: «дорогая и любимая»<sup>85</sup>, и лишь когда было принято взаимное решение о женитьбе, появились иные определения – «милая, дорогая, бесценная, ангел, все лучшее» <sup>86</sup>; «дорогая, бесценная, самое любимое мною существо»<sup>87</sup>; «милая, дорогая, все для меня, мое божество»88.

Уже в первом письме Каневского из Кром он пишет о «говоре сердца», которым переполнено послание к другу, призывая Владимира не грустить и не тосковать из-за их расставания, жалея его «истерзанную, израненную душу». И все же, Каневский несколько более отдален от Иконникова и не так сильно опечален разлукой. Он пишет (23 августа 1863 г.), обращаясь к «бедному моему страдающему другу»: «О, как бы я хотел, чтобы это слово друг нашло в глубине сердца моего такой же отклик любви, как и в твоем».

Вместе с тем, Каневский изначально был откровенен и просил о взаимной откровенности своего друга. В ответ на вопрос

 $<sup>^{84}</sup>$  ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 348. Л. 3.

 $<sup>^{85}</sup>$  Там же. Ед. хр. 346. Л. 1, 3 об.

<sup>86</sup> Там же. Ед. хр. 349. Л. 4 об.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Там же. Ед. хр. 356. Л. 1.

<sup>88</sup> Там же. Ед. хр. 359. Л. 1.

Владимира: какую жертву Иван принес ради него, - друг разразился целой тирадой о сути жертвы одного человека для другого (23 августа 1863 г.). При этом его откровения не могли не вызвать у Иконникова смешанного чувства на грани с ревностью. Ведь Каневский передал Иконникову своей дневник, из которого тот должен был узнать, что «я когда-то любил одного кадета, Стефановича, другого, Кржижановского, я любил и люблю не менее». Однако вся эта любовь - также невинная нежная привязанность к другому человеку, как это было и в отношении к Иконникову. Проверочный маркер – Иван тут же говорит о любви к младшему брату, который оставался в корпусе и которого он жалел, вспоминая «маленькую головку» мальчика. Все это он приводит лишь для того, чтобы показать свою жертву общением с ними ради одного Иконникова, ведь только с ним Каневский и провел последние дни в корпусе: «Да, я еще сильнее полюбил их всех и охотно, очень охотно хотел бы провесть с ними последнее время перед отъездом. Но я не мог бросить тебя и пойти побыть с ними, при одном взгляде на твое горестное лицо». Вопрос о жертве вновь был подробно изложен Иваном в письме от 10 ноября 1863 г. после прочтения дневника Иконникова, где также говорилось о жертве и жертвенности. Каневский писал, что в его понимании жертва – это отказ от чего-то дорогого и близкого ради другого человека. Жертва всегда свободна и всегда имеет цену для того, кто приносит жертву. Каневский все же «чувствовал себя не в силах философствовать на эту тему» далее, хотя Иконников и ждал его новых разъяснений по этому поводу. Иван, наверное, справедливо считал, что Иконников приписывает себе «такую печальную роль, которой никогда не было для тебя», преувеличивая свои страдания и видимое «равнодушие» друга (подобная искусственная драматизация Иконниковым своих отношений с другим человеком будет характерна также для его писем к невесте 1866-1867 гг.). Тем не менее, Иван вновь настаивал на откровенности и честности в переписке, без дипломатии в выражениях. Он так и писал, таким и был, тогда как Иконников все более старался писать «обтекаемо», выбирая слова и характеристики.

Наконец, Каневский без обиняков и прямо поднял вопрос о глубине их чувств и отношений: «Еще ты говоришь, что я



испугался, когда после вопроса о наших отношениях я увидел, что эти отношения могут далеко зайти. Нет, мой милый, я не испугался. Я очень острожен и осмотрителен, а при этой осмотрительности еще и различаю слово подлость. А потому-то (ты, верно, помнишь) как осторожен, нерешителен я был при ответе тебе, хотя рассчитав так: «А, была не была, два дня не век, потешу его». Я мог рассыпаться в уверениях разного рода о вечной памяти и дружбе и т. д. Я только был неуверен в себе, знал, что человек не может за себя ручаться». Не стоит пускаться в догадки, интерпретируя этот пассаж письма. Каневский с Иконниковым никогда не переступали морально-этическую черту, поскольку оба были религиозны. Это «далеко зайти» касалось именно проявления нежности, возможно, даже на физическом уровне, хотя ни тогда, ни в дальнейшем даже это не произошло.

В Петербурге же Каневский и сам загрустил, прося друга писать часто и много: «теперь вся моя отрада в письмах, мне надо любви ...» (30 августа 1863 г.). Это последнее утверждение, собственно, и показывает, что именно понимал Каневский и его визави под «любовью». Речь шла именно о нежных чувствах, о словесном их проявлении, то есть, более о мыслимом и говоримом, чем о телесном. А было ли телесное? Оно описано в одном из писем Каневского. В столице он решил посмотреть на то, от чего его предостерегал друг, ... на проституток на Невском. Он писал по этому поводу Иконникову: «Ты как то меня предостерегал от Невского. Пошел я туда раз нарочно, чтобы посмотреть, что там за ундины ловят на удочку карманы легкосердых личностей. Пошел я туда и воротился в полном разочарованьи. Такие хари, такие рожи, так наглы и бесстыдны, что нагоняют если не чувство омерзения, то, наверное, далеко отгоняют от себя. Да и едва ли бы я решился сделать в этом отношении окончательно смелый шаг, хотя бы представился к тому самый разудобный случай. Я не очень то уверен в своем здоровье, а пристукни меня какая-нибудь болезнь - то и поминай как звали. Жить мне хотя и не очень весело, а все же нет большой охоты умирать. Да еще сверх того и времени то нет бегать по Невскому, так что я вполне спокоен на этот счет» (6 сентября 1863 г.). Следовательно, друзья обсуждали «телесное», притом именно в отношении противоположного

пола. Более того, Каневский даже решил «проверить» представляемую «доступную» телесность и разочаровался. Но если Иконников знал о «Невском», то он, возможно, также прошел подобное испытание. Для нас важно, что это «телесное» в понимании сексуальности для обоих юношей сосредоточилось на женском начале. Это подтверждается и письмами к невесте. 29 марта 1867 г. Иконников прямо «представил историю своей любви», то есть, телесности: «Я встречался с женщинами, во мне возникали разные чувства, но я боялся, потому что хотел и в любви быть честным, как в науке. Я, как мужчина, мог легко удовлетворить страсти, если бы был обыкновенным мужчиною для женщины», но его всегда удерживали моральные, нравственные нормы<sup>89</sup>.

Получив два первых письма Иконникова, Каневский с удивлением заметил «оттенок холодности» и просил это объяснить, надеясь, что просто ошибся в восприятии текста (15 сентября 1863 г.). Он «с нетерпением ждал ответа». Затем были слова Владимира о «внешнем толчке», да еще со стороны женщины, и Каневский в ответ также стал философствовать: «От сердца радуюсь и говорю: слава Богу, что ты, наконец, получил толчок, который давно надо было тебе получить. Только тогда мы видим, когда солнце светит, и чем удобнее положение предметов, на которые падают лучи, тем более истинными и привлекательными они нам кажутся; а в сущности они те же, только солнце осветило их с другой стороны ... слава Богу, потому что тебе пора было дать дохнуть чистым, свободным воздухом, ты захлебывался пустотою и бессодержательностью жизни, а ты не был достоин такой участи (...) Еще раз дай Бог, чтобы просветил глаза души твоей и они пропускали больше свету; при Его помощи только ты и можешь найти много в ней, что оставалось доныне в тени». Все это в устах Каневского звучало несколько «искусственно», хотя при этом он призывал Иконникова быть в переписке искренним, «иначе нельзя нам и переписываться». Отметим также, что Каневский подчеркнуто говорит о Божьей помощи, свидетельствуя и свою и друга религиозность и отсутствие скаредных мыслей.

Но вот уже в следующем письме (9 октября 1863 г.) Каневский снова не сдержал своего философского настроения, хотя и

<sup>89</sup> ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 359. Л. 1.

просил друга об искренности и непосредственности. Иван прямо спросил, «тот ли ты прежний Иконников»? Тот ли человек, которому он доверил все свои самые сокровенные тайны, «самый дорогой цветок моей души»? Он требовал четкого ответа и поскорей: «Отвечай мне немедленно на этот важный для меня вопрос, отвечай, во имя чего просить тебя - я не знаю, но отвечай скорее. Я мучусь, я безумно мучусь, у меня буквально сил нет переносить эту жизнь; я знаю, что всем все равно, блаженствую ли я или страдаю, но мои мучения для меня важны, они меня мучат». Этот крик души был спровоцирован полным одиночеством и неудовлетворением ожиданий в Петербурге, где не было друзей, где Каневскому было очень и очень одиноко и неуютно. В такой момент видимое охлаждение Иконникова больно ударяло по «израненной душе» Ивана. Каневский очень ясно видел и писал об охлаждении Иконникова и просил без обиняков все объяснить, - он понимал, что между ними не просто недомолвки, а начало отчуждения (9 октября 1863 г.). Он считал, что друзья «находятся в странном, как будто выжидающем, что будет дальше, положении» (4 декабря 1863 г.).

Каневский представил свой вариант эволюции их дружбы: «ты от всей чистоты тоскующей души привязался ко мне, полюбил меня», но был нерешителен, не мог прямо сказать о своих чувствах. Иван помог решить ситуацию, «высказав тебе вечером, во время прогулки, мой взгляд на подобные отношения». Речь шла о самой близкой доверительной дружбе, и сердце Иконникова «обрадовалось, думая, что оно нашло другое сердце, которое будет согласно биться с ним, своим трепетом отвечая на его трепет». Каневский «жалел твоего больного духа, я хотел бы слиться с ним, но не мог», поскольку «не мог страдать твоим страданием», ибо «на пути встретилась такая канава, за которую перейти не в силах человек, где его воля исчезает и он становится не кормчим, а кораблем». Иван уверял, что Владимир привязался к нему не из-за реальных достоинств друга, а из-за представляемых в сознании Иконникова достоинств. Каневский высказывался откровенно и прямо: «Я не забыл всех подробностей конца июля 1863 года. События этого времени и следующего, словом, короткий эпизод из наших отношений, не скользнут по мне, как тень, бесследно. Я и теперь еще не привел в порядок всего. Я, было, понадеялся на разлуку, но пока и она не помогла». Этот «короткий эпизод» касался момента перед расставанием, когда эмоции переливались через край и требовали физических объятий, но оба друга остановились в нерешительности.

Да, Каневский не хотел рушить отношения, не хотел разрыва. Он послал Иконникову свой портрет, как бы подогревая память и чувства. При этом Иван вспомнил и об общей фотографии, сделанной в Киеве, где, по его мнению, он не очень удался. Каневский писал о возможности встречи, когда он будет ехать на Кавказ через Киев, и тогда они смогут откровенно поговорить «по душам». Он считал, что его прямота и откровенность «были причиной многих огорчений для тебя» (8 января 1864 г.). Однако мнительность Иконникова (его письмо от 3 января) совсем обессилила Каневского, который даже не находил, что отвечать на все искусственно-литературно, в стиле мелодрамы, нарисованные другом картины прошлого: «Пусть будет, как есть, я бессилен ломать голову над этим мучительным вопросом». Иван уверял, что ни на йоту не нарушал отношений, но «они нарушились, колыхнулись только от того, что ты узнал мой взгляд». Каневский, как уже было сказано, собирался посетить Киев по дороге на Кавказ и обещал Иконникову, что «ты увидишь, или лучше я покажу тебе, что я не изменился, что я тот же, только ты иначе понимал меня, в чем я сам был виноват. И хоть не могу корить себя тем, что я лгал тебе, но все-таки слабость души и характера не позволяла мне совершено говорить тебе, что надо было говорить» (13 мая 1864 г.).

Итак, Иван Каневский считал Иконникова самым близким другом, которому можно поверить все потаенные уголки своей души. Однако он был более открытым и прямолинейным человеком, имел и других друзей. У него не было того кризиса полной замкнутости в проявлении своего внутреннего «Я», который был у Иконникова. Поэтому не было и чувства ревности. Он относился к этой дружбе с такой же нежностью, но более спокойно, и с такой же чувственностью, но не эгоистического «собственника» друга. Он видел устремления Владимира, понимал, чего ему не хватает, но не мог вовремя провести черту «возможного», чтобы

друг не рисовал себе идеального образа и идеального (в его понимании) стиля отношений с постоянными эмоциональными чувственными излияниями влюбленности в дружбе.

С чувствами Иконникова в письмах все и проще, и сложнее. Проще потому, что его письма сохранились с того момента, когда он стал в них сдержанным, более философски настроенным. Сложнее, потому, что сохранились два варианта его исповеди перед другом, и в них – целое море переживаний, любви, ревности, разочарования и т. д. Как же во всем этом «разобраться»? Я не случайно взял это простое для исследователя слово в кавычки. Любой «разбор» в этом случае будет некой «исследовательской отсебятиной». Мои словеса на этот счет, несомненно, также отсебятина. Единственное, что позволяет мне изложить свое понимание эмоционального мира молодого Иконникова, это невозможность превратиться в «пройдоху» в своем анализе.

Представление о сути дружбы с Каневским со стороны Иконникова не всегда совпадало с позицией друга. Кроме того, это представление прошло значительную эволюцию, тогда как Каневский оставался достаточно ровным в своем видении отношений и был обескуражен сменой тона Иконникова.

Оставим письмо-исповедь Иконникова «на потом». Начнем с писем-ответов. Его первое письмо от 4 сентября 1863 г. было написано после пяти писем Каневского. И Владимир уже воздержался от излияния чувств, наполнявших его после отъезда друга, объяснив это нежеланием вновь испытывать все, что пришлось бы описывать: «потому, что заставлять себя переиспытывать вторично те же чувства, и при том на бумаге, - вещь невозможная». Уже в этом письме Иконников «прохладен», не столь эмоционален и чувственен, как его друг. Он начинает философствовать об определении человеком цели, к которой надо стремиться, и заключает: «лучше пасть в честной борьбе, нежели уступить пустому тщеславию света; потому что один исход и тогда, когда человек сознает цель, но не идет к ней, и тогда, когда он решится сдаться без бою. Этот исход - глубокая скорбь неудовлетворенной души». В этом письме уже виден «перелом» Владимира, который решил сосредоточиться на «университетской идее» и заглушить все свои душевные волнения и чувственность. Иконников даже



наставлял друга: «ведь мы же живем для чего-нибудь», предостерегая от апатии и обломовщины (литературный образ Обломова для того времени весьма опознаваемый символ лени) и разбавляя свои наставления стихами. Если он сам уже избрал свою цель и следует ей, то и друг должен это сделать без колебаний. Такое же наставничество и некое менторство проявляется и в рекомендации Каневскому, что ему нужно читать: «прочти Шлоссера и Бокля - они тебе дадут многое для понимания и себя, и людей». Очень интересный маркер сознания Иконникова того времени: он весьма прямо накладывает «опыт истории», особенно, по его мнению, четко обобщенный в трудах двух ученых. Чтение из работ по истории позволит лучше «видеть» природу и психологию людей не только прошлого, но и современных. Этот подход Иконникова с неимоверной силой проявился в его письмах к невесте, в которых немецкий историк Шлоссер будет непререкаемым «учителем жизни»,- автор постоянно ссылается на него, делает большие выписки из трудов ученого, даже требует от Анны-Нины следовать его наставлениям и пониманию жизненных устоев<sup>90</sup>. Владимир считает свою невесту неким «шлоссеровским идеалом», точнее, хочет видеть в ней этот «идеал»<sup>91</sup>. Шлоссер, как и Бокль, стали «учителями» для Иконникова уже в 1863 г., приучая его к постоянному труду, целеустремленности, педантичности,

<sup>91</sup> Там же. Ед. хр. 344. Л. 2-2 об.; Ед. хр. 346. Л. 1; Ед. хр. 347. Л. 4.



<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 345. Л. 1–2; Ед. хр. 346. Л. 1–4; Ед. хр. 347. Л. 1–2; Ед. хр. 348. Л. 3–3 об.

Фридрих Кристоф Шлоссер (1776–1861) – немецкий богослов и историк, выпускник теологического факультета Геттингенского университета, профессор кафедры истории родного университета (1819–1861), автор широко известных трудов «Всемирная история» (до 1815 г.), в 18 томах (первое издание 1844–1856; русский перевод: Санкт-Петербург, 1861–1869, в 19 томах), «История 18 века и 19 до падения Французской империи с особенно подробным изложением хода литературы» (первое издание в 2-х томах, 1823; русский перевод: Санкт-Петербург, 1868–1872, в 8 томах). Оба труда выходили в России под редакцией Н.Г. Чернышевского. Шлоссер использовал одновременно метод позитивистского прагматизма (изложение фактических данных) и психологической интерпретации, но далекой от философствования, однако склонной к личностным оценкам с «приговорами» историческим деятелям морального и морально-политического плана.

вниманию к мельчайшим деталям и минимальной эмоциональности, более того. – резкости и строгости суждений о других, как и о себе самом. Именно Шлоссер породил в Иконникове мысль: «Плохой тот историк, который, имея дело с тысячами мертвых лиц, не может постигнуть и одной живой личности как следует» 92. Посему он стал «изучать» личность невесты «по Шлоссеру», требуя от нее изложить свою биографию, считая «принцип Шлоссера справедливым: люди гораздо хуже в действительности, нежели кажутся»<sup>93</sup>. «Уроки» Шлоссера и Бокля Владимир переносит не только на себя, но и на своего друга, что отражается на самом «новом» содержании их дружбы, уходящем из мира чувств и эмоций в реальную жизнь. Важным моментом этого первого письма «времен разлуки» было пожелание «искренности и свободы мнений» в переписке. И тут же просьба спрятать или даже сжечь ранние письма «киевской поры» из-за их особого настроения и смысла. То есть, некая «двойственность» Иконникова еще не вытеснила совершенно его чувственности, но направление все же задано. Скажу более, она продолжилась и в письмах к невесте: Владимир постоянно требовал от Анны-Нины искренности, но уже в первом письме (от 5 июня 1866 г.) с признанием в любви требовал никому его не показывать, ни с кем не обсуждать и даже «теперь же возвратить мне эти листки» 94.

Уже в следующем письме к Каневскому (12 сентября) Иконников говорит о себе, как о «нас, книжниках», для которых наступающая осень помогает полностью посвятить свое время книгам. Владимир пишет о переменчивости настроения друга и постоянности своего, объясняя это тем, что «я не слишком поддаюсь впечатлениям внешности, которой я уже давно не доверяю». Это было «печальное смирение» с обстоятельствами, что совершенно противоречило письму-исповеди. И одновременно Иконников требует, чтобы Каневский был «вполне откровенным, как был ты откровенным здесь». Наконец, просьба не писать его фамилию в обращении. Когда же Каневский заметил некую холодность в письмах друга, Иконников отрицал это, однако отметил,

 $<sup>^{92}</sup>$  ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 344. Л. 3–3 об.

<sup>93</sup> Там же. Ед. хр. 345. Л. 1 об.; Ед. хр. 348. Л. 3.

<sup>94</sup> Там же. Ед. хр. 344. Л. 4 об.

что адресанту «со стороны виднее». 21 сентября Владимир вновь говорит другу о необходимости идти непреклонно к цели и бороться за ее осуществление. Внешне (то есть, на словах) Иконников как бы становился более цельным, целеустремленным, более «правильным». Длинное размышление о цели жизни и борьбы он заключает тирадой, что все это ни из какой книги не выписал, но само чтение умных книг привело его к пониманию всего изложенного. Не менее важный момент – «внешний толчок». Речь шла о человеке, или, отвлеченно, о ком-то, кто мог бы подтолкнуть «тебя» (имея ввиду и себя самого, и друга). Иконников таинственно писал о таком толчке для себя со стороны женщины, тут же «успокаивая» Каневского, что она родственница (речь шла о сестре или жене брата).

Философский тон писем Иконникова все усиливался. 2 октября 1863 г. он вновь стал рассуждать о необходимости цели в жизни, заговорив о «пустоте»: «Пустошь кругом, пустошь в себе, и сознание, что нет средств помочь этой пустоте, пугают всякого, кто хоть сколько-нибудь серьезно смотрит на жизнь. Положение безвыходное; никакое философское учение не разъяснило жизненной загадки и не в состоянии поддержать на жизненном пути, если только закрались эти мысли в голову, а они свойственны каждому мыслящему человеку. Таков человеческий удел ...». Получалось, философия жизни против философии мысли. Зачем были все эти рассуждения в письмах к другу? По-видимому, так Владимир скрывал свои чувства, «растворяя» их в философствовании, общих рассуждениях, «прячась» от прошлой чрезмерной эмоциональности, от слез расставания и любви.

Но Каневский настойчиво требовал объяснить усиливающуюся видимую холодность писем Иконникова. И Владимир (20 октября) все же решился объясниться. Он винил себя в мягкости и склонности к идеализации близкого человека. Иконников был зол на себя за то, что «превратился в безграничного пажа в дружбе». Его охладили слова Каневского при прощании, что он «совершенно равнодушен» (такова интерпретация Иконникова, как показывает переписка; и не только с Каневским, но и с Родзевич он «додумывал» ситуации в стиле трагических романов, что указывает на некую склонность к «неврастении», – особо подчеркну

условность определения, чтобы это не выглядело диагнозом от «пройдохи»). Исходя из всего сказанного, Иконников решил взять себя в руки, смирить чувства и включить рассудок: «И вот я стал работать над собою, я стал, правда, насильно, удерживать себя от тех сильных порывов, которые так тебя беспокоили. Впрочем, успокойся: я остался тот же, только я хочу быть уже готовым; так что, когда ты мне ответишь «нет», чтобы я не старался заставлять тебя говорить «да»». Он решил, что слишком увлекается и может вообще превратиться в «непостоянного человека», а это разрушило бы его жизнь, требующую цельности, твердости характера и рассудочности. Соответственно, Иконников решил стать хладнокровнее, самостоятельнее, не растворяться в чувствах и не подчинять им разум. То есть, речь шла о выработке «немецкого характера» в стиле Шлоссера, притом вполне искусственным способом. Интересно, что он теперь (20 октября 1863 г.) уверял Каневского, что говорить глаза в глаза сложнее, чем излагать все «по правде» в письмах: «заочно пишется свободнее, чем говорится, смотря глаз в глаз; в последнем случае бывает много фальшивого, поддельного ...». Эту идею позже он будет повторять в посланиях к невесте: «В письмах как то откровеннее», «лучше, что мы начали с писем» 95.

О своем «идеализме» и борьбе с ним Иконников рассуждал и в последующих письмах к Каневскому. 22 ноября 1863 г. он писал: «всему виною – мой идеализм, проникающий всю мою жизнь, обстановку ... Я решился его уничтожить, так как не надеюсь от него добра, напротив, чувствую, что он меня погубит». Владимир решительно заявлял, что покончит со «сценами», с ревностной требовательностью и прочими эмоциональными тирадами, «давними выходками с тобой» («молчание, печальные взгляды»): «я буду теперь таким, как и следует быть порядочному человеку, и не нарушу, однако, наших отношений. Уже не будет более к тебе таких писем, на которые бы тебе следовало писать оправдательное послание». Лозунгом Иконникова стала фраза: «пойду дальше, может быть, чего-нибудь добьюсь». Но он все же был недоволен собой: «Я недоволен своим характером; нерешительность в некоторых случаях вредит мне, решительность в других под-

 $<sup>^{95}</sup>$  ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 346. Л. 2 об., 4; Ед. хр. 355. Л. 1 об.

водит часто к смешным результатам; да ведь главное – прежние уроки ни к чему не ведут». Прошло пару лет, и в письме к невесте он вновь констатировал прежнее: «У меня натура эксцентричная и способная на увлечения, на энтузиазм до помешательства» <sup>96</sup>.

В декабрьском письме 1863 г. к Каневскому Иконников в ретроспективе видел тупиковость отношений с Каневским: случайно встретились, была надежда на будущее, усиленная «заданным тобой известным вопросом 27 июля», если бы всего этого не было, не было бы и волнений с обеих сторон. «Известный вопрос» касался будущего их отношений, сложно сказать, в чем он заключался. Не буду фантазировать и другим не советую, чтобы не стать «пройдохами». Теперь Иконников уже смиренно считал себя «человеком неприхотливым», способным «удовлетвориться гнилым фолиантом лучше, чем живым человеком». Все треволнения появились в определенное время, со временем и исчезнут. Главное для Иконникова было избавиться от своего «идеализма», то есть преувеличения в оценках людей и уровней возможности сближения с ними. Как иллюстрацию он приводил исторический пример: императору-триумфатору раб должен был постоянно напоминать, что он просто человек и смертен.

Все это теоретизирование, впрочем, исчезало, как только Иконников получал новое письмо от Каневского. Уже 3 января 1864 г. у него «не достало духу» прочитать полученное письмо в университете, а дома Владимир перечитал его дважды «от доски до доски». И ему было трудно писать ответ, перо писало «с усилием», и «между мыслью и передачею ее - большая разница», поскольку его ожидание «обманывалось ложным чувством» и реальностью. Иконников не мог сдерживать новый всплеск эмоций, не мог вновь загонять их внутрь себя, замкнуться и писать другу в спокойном тоне. Он пытался в ответ избегать «истории наших отношений». Однако не смог вновь не вернуться к своим чувствам, объясняя их «склонностью к мистификации, к идеализации». Теперь же (хотя в тексте «давно уже») Иконников пришел к выводу, что «жизнь – мишура, что люди – обманчивый кристалл». Своей бедой он считал то, что «я каждого человека, с которым сближаюсь, прежде всего идеализирую, и в силу этого

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Там же. Ед. хр. 353. Л. 2.



мерила оцениваю его по отношению к себе». Результат такой идеализации – дневник, который читал Каневский; он, как и письма, вызваны Иваном, и все содержание «относится к тебе лично». Именно в этом месте письма была цитированная ранее тирада о дневнике Печорина и пожелание, чтобы дневник Владимира был уничтожен другом.

Следующее письмо Каневского Иконников читал «раза четыре», всматривался в присланный портрет «и все не понимал твоего взгляда на вещи». Он опять мнительно, в стиле трагического романа, рисовал сцены забытья Каневским друга, превращение его в Печорина, возможность случайной встречи и нежелание Ивана говорить и пр. То есть, Иконников по-старому додумывал трагические ситуации развития или, точнее, прекращения дружбы. Он сам обрывал полет своей фантазии, предлагая более не толковать об этом и считая, что последние полгода они вели «переписку в китайском стиле». И вот уже 29 мая 1864 г. Иконников констатировал, что время идет быстро, и «мы становимся только официальными зрителями давно прошедшего», но оно все же «не так гадко, чтобы стараться позабыть его». Казалось бы - он «остыл», его чувства перестали «пылать», он смирился, что друг идет другой дорогой. Но нет, Иконников намекнул на то, что Каневский мог бы проситься на должность в Киеве, а не ехать на Кавказ. Однако этот намек был слишком закамуфлирован: «О Киеве я уже не говорю тебе, потому что ты на это улыбнешься, а пожалуй, сочтешь и эгоизмом, хотя я искренно желал бы ...». Это троеточие проставлено автором письма и должно было сказать другу о недосказанном, о «жизни» прежних чувств, которые теперь он прятал за «...».

Буквально то же мы видим в письмах Иконникова к невесте. То он холоден и рассудителен, но все резко меняется при получении нового письма от Нины. 7 мая 1867 г. он эмоционально восклицал: «Я не могу равнодушно видеть твои письма, твой портрет, со мною делается ряд спазм, я весь дрожу, и сердце бьется, бьется, дух забивается, и когда говоришь с кем-нибудь, путаешься в разговорах, отвечаешь не то, забываешься. Когда я увижу твое письмо на столе, я вдруг обдаюсь струями пота на лице, и сердце сильно ёкает. Вот я и попрятал все твои письма, а прежде

было я их читал по 10 раз»<sup>97</sup>. 14 июня Владимир вновь откровенничал: «Каждый день и по несколько раз, как будто ребенок, считаешь по пальцам – скоро ли придет письмо от Нины, и хотя от этого время нисколько не сокращается, а все таки продолжаешь считать по пальцам. Такова слабость человеческой природы, слабость всех любящих, наконец, и более всего, – слабость твоего мягкосердечного Володи»<sup>98</sup>. Эти порывы быстро заменялись жесткими словами в «шлоссеровском стиле» (так определял сам Иконников<sup>99</sup>).

Все рассмотренные письма к Каневскому, в которых видна некая эволюция эмоционального мира Иконникова и его чувственного отношения к другу - от искренней нежности к искусственной холодности, - все же не дают достаточной общей картины обозначенной эволюции. Но ее, да еще в понимании самого Иконникова, можно видеть в двух вариантах его письма-исповеди, - анализу этих текстов и пришел черед. Правда, в некотором смысле у меня возникает мысль, не есть ли эти «листки» тем «дневником», о котором говорят друзья? Исповедь длинна, наполнена разными смыслами и очень-очень эмоциональна. Если этот так (т. е., это и есть дневник), тогда он так и не был уничтожен Каневским и прислан Иконникову? Но в таком случае он должен был бы послать и ранние письма друга, смысл уничтожать которые, если оставлен дневник, в архиве Иконникова был бы непонятен. Да и в самой исповеди автор упоминает о своем дневнике, как о чем-то ином, специальном, тетради, которую вел некоторое время, записывая в нее все пережитое и важное для себя. Во всяком случае, оставлю этот вопрос открытым и продолжу называть эти «листки» письмом-исповедью.

Владимир писал анализируемую исповедь после неоднократного «вглядывания» в свое прошлое, «в самого себя», и, таким образом, это была его ретроспективная оценка пройденного осознанного жизненного пути с особым уклоном в отношения с Каневским. Иконников констатировал, что постоянно пребывал в двойственной позиции: стремление освободиться из-под

<sup>99</sup> Там же. Ед. хр. 348. Л. 3.



<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 354. Л. 1 об.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Там же. Ед. хр. 359. Л. 1.

влияния авторитета и нерешимость для этого. Он показывал, как рождались и исчезали важные идеи и направления в его эволюции как личности. Сначала – «идея религиозная», которая появилась «искусственным образом», как твердыня, «за которой можно было защищаться от произвола семейной власти». Положительным фактором в этом процессе проникновения в «религиозную идею» Иконников считал постепенное привыкание владеть собой. Но, с другой стороны, это привело к изолированности от среды товарищей и «перестройке характера». Замкнутость способствовала укрывательству своей сущности: «говорил одно, а думал другое».

Некая перемена произошла в 5-м общем классе под влиянием учителя Янсона, который заметил способность кадета к истории и «сказал, что я могу ею хорошо заниматься». Посему Иконников купил и стал штудировать пособие Беккера; сочинения московского профессора всеобщей истории Грановского «открыли мне художественную и нравственную сторону истории», а книга Выдинского о Папстве «показалась мне уже роскошью». Иконников считал, что с началом «исторического пути» (т. е., интересом к истории) произошел «поворот в моей жизни». Впрочем, Владимир привязал это к более раннему «повороту», когда он впервые прочитал «Горе от ума» и сочинения Лермонтова: первое просветило ум, а стихи великого поэта манили на Кавказ и разбудили потребность в личном поэтическом творчестве. Именно увлечение историей, по словам Иконникова, породило мечты об университете, и так «религиозную идею» заменила «университетская идея». Однако нерешительность не позволила совершить серьезный шаг - уволиться с 1-го специального класса кадетского корпуса. И лишь лекции в корпусе университетских профессоров, особенно Григория Цехановецкого, все же привели к «победе» мысли об университете над страхами (гнев отца) и сомнениями. Даже в глазах товарищей он стал уже не «монахом», а «профессором» (естественно, кадеты всем давали прозвища в соответствии с наклонностями друг друга).

Отношения во 2-м специальном классе (всего около 50 кадетов) между одноклассниками были ровные и дружественные, Владимир завел близких друзей. В этот момент Иконников был



переведен во вторую роту, где и встретил Каневского. Далее все письмо-исповедь практически посвящено развитию отношений Владимира с Иваном. Сначала Каневский выбрал место для подготовки за одним столом с Иконниковым. По мнению Владимира, «этот выбор и был шагом к нашему сближению». Теперь Иконников не был привязан к «форме» религии, отделив от нее «дух религии», чему способствовали занятия историей. Его стала больше интересовать сама жизнь, и возникла сильная потребность в человеке, соизмеримом по духу. Опять таки, Каневский был более инициативным: он многое доверил Иконникову из того, что «доверяется только в родственном кругу». Это не удивительно, учитывая, что он был младше и поверялся старшему товарищу. Их сплотило также критическое отношение к окружающей среде и жизни в корпусе. Склонный к идеализации привлекавшей его личности, Владимир «избрал», или «назначил» своим сокровенным другом исключительно Ивана, «отодвинув» всех других.

Первый «сбой» в отношениях случился из-за ревности Иконникова своего друга к другому кадету, с которым тот также часто общался. Мнительность Иконникова сразу нарисовала сцены, когда он - «третий лишний» и прочее (это точь-в-точь повторится во многих письмах к невесте). И он «переступил границу», т. е. резко перестал разговаривать с Каневским, переживая «горькую минуту». И вновь инициативу проявил Каневский, предложивший объясниться. Для скрывающего в себе сильные эмоции Иконникова разговор с другом показался холодным со стороны Ивана, и он совсем впал в отчаяние, постулируя мнение, что «самое несчастное создание - человек». То есть, Владимир посчитал, что ошибся в Иване, который не станет его альтерэго. Он решил подавить в себе чувственность и стать хладнокровнее. Однако при этом Иконников констатировал, что его «чутье» стало очень развитым, посему он отличал «тот ток», с которым уставший и желающий спать Каневский просил его удалиться от его кровати, от «тока» после их размолвки. И вот именно тогда Владимир «стал подозревать, не сомневаешься ли ты насчет моих нравственных правил, не смущают ли тебя взгляды и слова посторонних кадет». В этот случае шла речь о возможных подозрениях товарищей в интимных отношениях двух друзей, что совершенно противоречило нравственности их обоих, но общественное мнение могло сильно задевать закадычных товарищей.

Иконников вспоминал о многих сценах в связи с Каневским. Ему очень не хотелось расставаться с другом. Посему Владимир планировал после выпуска остаться в Киеве, снимать отдельную от отца квартиру и встречаться там с Каневским в выходные и отпускное время. Постепенно он стал замечать, что его чувства становятся навязчивыми и друг старается меньше общаться, даже искать повода уйти от стола, где они вместе обыкновенно занимались. В письме-исповеди Иконников охарактеризовал свою навязчивость, как «деспотизм», который он в то время не осознавал, осмыслив лишь после.

Но именно проблемы в общении с другом подвигли Владимира усилить стремление к университету. Напомню его мнение, что развитие в нем столь разных религиозной и университетской идей все же шло одним путем: «противодействие внешней силы вызывало во мне сильнейшую потребность в удовлетворении тою или другою идеею». Иконников «пошел напролом» к «университетской идее». В письме-исповеди он опять сообщил о роли студента-медика Маранкони, о личном посещении Пирогова. Эту изначально тайную мысль об университете он поверил только Каневскому, которому также подарил свою выпускную фотографию. Наконец, Иконников решился на кардинальный шаг – оторваться от отца, - он снял отельную квартиру. Тем не менее, некая пустота и выгорание чувств чуть не толкнули Владимира в крайность: он желал даже оставить Киев и перевестись «в глушь, в Саратов», что, по словам юноши, отразилось и в его дневнике. Владимир сделал важную заметку: «Если бы меня не сдерживала в то время религия, - я не знаю, что бы из меня вышло».

В таком состоянии Иконников вновь стал посещать корпус и встречаться с Каневским. Однако в их общении «все было не так»: «разговоры были осторожны, отношения натянуты». По словам Владимира, он стал обрастать «корой» равнодушия и апатии. Однако старые чувства всколыхнула новая инициатива Каневского – его приход на дежурство к Иконникову. Владимир «готов был броситься к тебе и умолять позабыть прошедшее, считать его неуместным сном». Однако в реальности эта новая встреча

прошла в тихой долгой беседе, из которой Иконников узнал, что «ты уже не тот религиозный юноша, который мне, было, на все говорил, что одна надежда там ...». Иконников сравнил Каневского с Базаровым – нарицательный литературный герой, «воплощавший в себе отрицание всего», подумав, что для Ивана «уже нет веры ни в какое чувство, ни в какие привязанности». И это заставило его не тревожить друга, который и сам прекратил ходить к Иконникову на дежурства.

Именно вследствие этого нового разочарования Иконников «предался со всем жаром науке», поскольку лишь она «не отвергнет моей привязанности».

И вдруг очередная встреча с Каневским, который «говорил со мною так, как я никогда с тобою не говорил». Иконников опасался нового разочарования, но был очень обрадован откровенностью друга и «новым теплом», повеявшим от него. Он с нетерпением ждал следующей встречи. Но о ней ничего не написал, заметив: «все остальное тебе известно». Лишь намеком, говоря о заданном Каневским «известном вопросе», на который нужно было ответить «да» или «нет», Иконников констатировал, что это сняло камень с его души, которому «пришлось бы еще долго и долго давить ee». Эта решимость Каневского окрылила Иконникова: несмотря на усталость, он смог плодотворно заниматься до полпервого ночи и затем долго раздумывать над разговором друзей. Он говорил о своей привязанности, «сочувствии душе», вопрошая: «неужели тебе необходимо, кроме такого сочувствия, смазливое лицо, под которым всегда скрывается продажное чувство модной красавицы»?», посему «будем же поддерживать друг друга». Итак, «старые чувства» полностью вернулись к Иконникову, его работа над собой не была перечеркнута, но вновь была «пробита» нахлынувшими чувствами.

Это письмо-исповедь было написано в момент расставания: Каневский уезжал в Петербург для продолжения обучения. Посему Иконников с надеждой писал о продолжении отношений, суть которых – «в самих чувствах». Он вновь говорил о жертве «со стороны постороннего человека», о «цепях долга», заключая эти философские размышления фразой: «легко разойтись, но как трудно снова сходиться!!!». Это «снова сходиться» указывало на



вернувшуюся чувственность в отношении к другу. Она проявилась в новой сентенции: «При неприкосновенной вере в того, кого любишь, тоску разлуки победит душа» (цитата из Тургенева). Эта тема жертвы, разлуки и испытания чувств буквально в тех же словах затем будет высказана Владимиром своей невесте Анне Родзевич, но к этому он добавил еще свои нескрываемые «слезы» любви и сомнений<sup>100</sup>.

И все же Иконников очень страдал по поводу разлуки, восклицая: «Боже! Какая тьма ... лучше бы на свет не родиться»; «ни с кем я еще так не расставался, как с тобою». Владимир заверял: «Друг мой, я не отстану от болезненной твоей души, я послан тебе судьбою провесть тебя сквозь тьму искушений страшными жертвами с моей стороны». Он опять рисовал трагические сцены: если Каневский заболеет, Владимир продаст главное свое богатство – книги и примчится к другу, обещая свою помощь в любой момент и любыми способами, поскольку «та любовь, которая соединяет нас ... для меня дороже всего мира». Более того, Иконников писал о своей возможной жертве: перевестись в Петербургский университет, хотя там у него не будет средств к существованию и придется проходить курс более двух лет (время возможного обучения Каневского и выпуска), поскольку придется зарабатывать на жизнь. Он утешал себя и друга словами Тургенева о том, что разлука укрепляет чувства, завершая длинное послание своими собственными стихами. Точка в излитых мыслях была поставлена Иконниковым словами Гоголя: «каждый из нас готов обнять весь мир, но только не одного человека». Этим он указал на черту, которая разделила связь с другом: они так и не отважились «обняться».

В исповеди Иконников назвал два года после выхода из корпуса «темными годами во внутренней жизни моей души», несмотря на поставленную цель – университет и большую работу для ее осуществления. Эти «темные годы» в значительной степени были связаны с расставанием с Каневским и изменением их отношений.

Итак, Иконников разный в своих письмах в Петербург и письме-исповеди. В первых он постепенно «вытравливает» в себе

<sup>100</sup> ИР НБУВ. Ф. 46. Ед. хр. 347. Л. 3 об., 4-4 об.; Ед. хр. 357. Л. 4.

чувственный мир безудержной любви к близкому другу, хотя это ему удается с трудом, но все же «университетская идея» и занятие историей помогают ему обрести «цель жизни» и не впадать в «чувственную крайность». А письмо-исповедь возвращает все прошлое чувственное и эмоциональное в контексте самоанализа и, конечно, мнительной трагедии, которую во многом Иконников «писал» в своей душе безосновательно, опираясь на полученный из художественной литературы опыт. Он разный, но все же один и тот же. В нем бурлят чувства, горит любовь к единственному близкому человеку, и в то же время «работает» сознание, требующее охлаждения пыла и страстей. Он не «ровный», как Каневский, в своих письмах, поддается импульсивности, которую разбавляет философствованием, некой холодностью и пр. Иконников постоянно рефлексирует. Сквозь избранный прохладный тон постоянно прорываются искры эмоций и пронзительных чувств. Ему очень тяжело и боязно терять не просто самого близкого человека, но связанные с ним глубокие эмоции, возможность полного самопроявления и душевного тепла. Другой человек не может заполнить пустоту, Каневского нет рядом, связь с ним становится элементом письма, отсутствие живого общения порождает отчаянное чувство одиночества. Но в этой ситуации помогает ИСТОРИЯ, особенно тексты Шлоссера. Литература романтизирует и драматизирует сознание Иконникова, а история его структурирует и «собирает».

Два друга, две судьба, одна влюбленность и разное ее проявление, в том числе в письмах.

## Интеллектуальная история в письмах друзей

Любой классический историк будет искать даже в ранней переписке своего героя, который стал выдающимся ученым, проявления именно его интеллекта как некой подготовки личности к будущим научным занятиям. В предыдущих работах об Иконникове я также использовал эту переписку в таком ключе. Собственно интеллектуальная история Иконникова в публикуемой переписке, главным образом, «книжная», т. е. речь шла о прочитанных или требующих прочтения книгах. В письмах Каневского интеллектуальная история практически отсутствует. И даже на



предложение Иконникова прочитать книги Шлоссера и Бокля он отвечает полным неимением времени, поскольку все оно загружено разного рода занятиями. Но вот от чего Каневский не отказался, так это от написания собственных стихов. Более того, Иван просил Владимира специально написать поручение будто бы напечатать свои стихи, поскольку юнкерам было официально запрещено печатать свои произведения. Но цель таких планируемых публикаций для Каневского была прикладная – заработок небольших гонораров (15 сентября 1863 г.). Был еще один момент, относительно связанный с учеными наблюдениями. Каневский просил друга вести метеорологический дневник о погоде в Киеве, он же будет вести такой дневник в Петербурге, затем можно будет сравнить материал. Иконников обещал это сделать, однако в последующих письмах более не было ни слова об этих наблюдениях со стороны друзей.

В отличие от Ивана, Иконников уже с первого письма начал предлагать Каневскому книги для чтения. Сначала Шлоссера и Бокля. Затем (21 сентября 1863 г.) он писал, что на его столе все также «лежат те же Дункеры, Шлоссеры, Куно Фишеры, Бокль, Летописи и проч., и проч., но эти Дункеры, Шлоссеры, Фишеры, Бокль, Летописи говорят мне сами то, что я прежде должен был искать не в них, а в жизни. Они мне говорят: «трудись, трудись плод приносится трудом, сколько есть в жизни пустых, незанятых рук, но это все шарлатаны, пустошь, тунеядцы, а ты хочешь быть человеком. Человек должен бороться, если он полюбит борьбу, то всякий успех в ней будет для него наслаждением и только тогда она ему не надоест»». Не будем вновь останавливаться на философских рассуждениях о целях жизни и путях их достижения. Однако опять подчеркнем, что Иконников интерполирует полученные исторические знания, как и информацию о судьбе авторов книг, не только на современный мир, но и на себя лично, а также на друга. Среди всех трудов европейских историков и философов автором выделен лишь один исторический источник - древнерусские летописи. Именно из «Повести временных лет» он делает для друга выписку о похвале книг и книжности. Это показательно: если всеобщую историю и историю философии Иконников постигает по обобщающим трудам ученых, то

историю Руси он черпает из летописей, начиная самостоятельный путь их анализа. Таким образом, если перечисленные научные труды «поглощались» и «усваивались» как готовая данность, как некая картина прошлого континента, то летописи изучались и анализировались самостоятельно. Это важное обстоятельство для характеристики эволюции исторического интеллекта Иконникова того времени (конечно, не стоит забывать и о Карамзине с Соловьевым, но о их значении для своего развития Иконников писал в мемуарах, а не в письмах к Каневскому).

2 октября 1863 г. Владимир уже рассуждает о науках как результате человеческой мысли, об их прогрессе как символе «величия человеческого духа». Обещая развить эти свои положения позже, Иконников сообщил, что занимается «изучением человеческого духа, насколько он проявляется в отдельной личности и в целом – в том или другом обществе, в то или другое время». И вот любопытное утверждение: «У меня уже составился и план труда над этим вопросом, но пока задуманное сочинение отвлекает от него». Иконников в своих научных работах эту идею на концептуальном, цивилизационном, историко-философском уровне так и не воплотил, избрав совершенно иной, более германский, шлоссеровский стиль освещения конкретных исторических вопросов. Но сама задумка, сама идея создания глобального обобщающего труда о духовном развитии общества через призму исторических личностей молодым исследователем очень важна - это совсем другой уровень интеллектуальности, нежели тот, к которому в конце концов склонился Владимир Степанович.

10 февраля 1864 г. Иконников вновь давал советы Каневскому о чтении: «Советую тебе прочесть следующие вновь вышедшие сочинения: «Древность человеческого рода» Шлейдена, «О происхождении видов» Дарвина, «Человек и его место в природе» Фогта, «Общее землеведение» и «Историю землеведения» Риттера. Советовал бы «Всемирную историю» Шлоссера, а на нем можно отдохнуть от мирской грязи, потому что дурака он назовет просто дураком, не стесняясь выражением, хотя бы он был в короне. Прочти и Гервинуса (История XIX века) – истинного продолжателя Шлоссера – и там увидишь, что люди на высших ступенях и теперь также подлы, как и во времена Ксеркса, только

в белых перчатках, чтобы не запачкать руки, и только в народе найдешь еще силы для лучшего будущего ...Прочти Зибеля: История Французской революции». Этот перечень книг, рекомендованных Каневскому для чтения, не случаен. Свидетельство тому - комментарии Иконникова. Если о первых трудах относительно ранней истории человечества и теории дарвинизма автор ничего не говорит кроме того, что они недавно вышли в свет, то Шлоссер удостаивается целого пассажа относительно того, чему он учит современников. В частности, - прямолинейной оценки людей и каждого индивидуума. Такой откровенности и даже прямолинейности друзья требовали друг от друга в переписке. Ученик и первый биограф Шлоссера Гервиниус показывал низость власть имущих и важность для истории «простого народа». Этот пассаж также важен для характеристики первоначальных взглядов Иконникова на суть исторического процесса и его движущие силы. Однако это не было проявлением «народничества», которое так и не станет характерной чертой Иконникова как историка: он посвятит множество трудов выдающимся личностям и власть имущим персонажам. Наконец, именно из этой цитаты мы имеем полное представление о «факторах влияния» на историческое сознание Иконникова определенных произведений, и особенно нескольких историков немецкого происхождения, и способа осмысления исторического процесса.

Именно в этом письме Иконников приводил известную цитату из «Повести временных лет» о книжности, притом с конкретной ссылкой (единственный раз в письмах!) и аргументацией, что друг ее вряд ли где-либо прочтет: «Наш древний летописец глубоко сознавал пользу книжную, и я решаюсь привесть для тебя его слова, потому что ты, может быть, никогда их не встретишь, так как они почти не печатаются в обыкновенных сочинениях; он говорит: «Велика бо бывает польза от ученья книжного; книгами бо кажеми и учими есмы ... мудрость бо обретаем и въздержание от словес книжных; се бо суть реки, напаяющие вселенную, се суть исходища мудрости; книгам бо есть неисчетная глудбина, сими бо в печали утешаеми есмы, си суть узда въздержанью» (из Полного собрания русских летописей. Т. 1, стр. 65 и 66). Вникни в смысл и поймешь, что это так».

Эта цитата важна еще и в смысле того, что у Иконникова развился вкус к источникам, их анализу и интерпретации. При том, повторюсь, источникам по отечественной истории, а не всеобщей. В мемуарах он свидетельствовал: «Я увлекся работой по источникам, результатом чего и было сосредоточение мое на русской истории»<sup>101</sup>.

Ода книгам не случайна. Для Иконникова - в них вся человеческая мудрость до самых ее глубин, и от самого начала существования человечества. Именно книги – как чужие, так и свои – составляют для Иконникова основу основ его личной интеллектуальной истории. И вот какие именно это книги - маркер не только интересов, но и непосредственного влияния их идей на интеллектуальный мир будущего историка. Не преминем заметить также, что в письмах к Каневскому Иконников называет лишь избранные книги, которые считает нужным упомянуть для сведения другу или даже посоветовать к чтению. То есть, интеллектуальная история Иконникова в письмах весьма ограничена именно ориентацией на возможный интерес или полезность некоторых книг для Каневского. Это, скорее, «желанная» для друга интеллектуальная история со стороны Иконникова. Но она важна и для него: все эти книги он прочитал, освоил, воспринял их идеи и подчеркнул то, что посчитал важным для познания также другом.

## О другом

Как уже было сказано, письма Иконникова постепенно стали наполняться, вместо проявления чувств, выяснения отношений и их степени, описательными вещами касательно общих знакомых, киевской жизни и прочим, т.е. – «о другом». Исподволь и в этом он, естественно, ориентировался на интересы Каневского.

Это «другое» Владимир начал (20 октября 1863 г.) с информации о Виталии Шульгине, который решился читать публичные лекции о Французской революции, а также сообщил о его желании стать профессором Университета Св. Владимира. Шульгин постепенно превратился в постоянного героя писем Иконникова, пропорционально тому, как в них становилось все меньше

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> ГАРФ. Ф. 7353. Оп. 1. Д. 2. Л. 19.

рассуждений о чувствах, смысле их отношений, прошлом и будущем самой дружбы. 10 февраля 1864 г. Иконников описывал «борьбу о принятии» Шульгина в профессора университета, излагая мнения студентов, факультета и Совета университета. В этом письме он осудил присвоение Шульгину доктора «за знаменитость», т. е. за учебники. Его учебник по новой истории Иконников ранее оценивал весьма положительно, а в этом письме - наоборот («написал учебники, от которых ученикам в голове трещит, когда заучивают фразы, понятия, выводы и мысли без фактов - основания истории, и благодаря которым ученики становятся резонерами, пустословами»). Процитированная тирада важна интересным подходом: Иконников выступает за фактологию, которая - основа истории. А вот в мемуарах он писал, что учебники Шульгина давали общий взгляд, представляли живых людей, предлагали культурологический ключ, в отличие от иных других, наполненных лишь фактами, датами, цифрами. Получается, на раннем этапе исторического развития Иконников не был склонен к широкому взгляду? Отнюдь, о чем свидетельствуют перечисленная выше литература, которую он читал, и замысел своей обобщающей культурологической работы. Думаем, что в этом случае сказалось отношение к личности самого Шульгина. Более того, Иконников был недоволен, что студентам не дают «права голоса» при решении вопроса о Шульгине. Посему резко заключил, что этого (т.е. права голоса для людей вне власти) «в России, кажется, никогда не дождемся».

В этом письме содержалось важное сведение о том, что Иконникову предложили по окончании Университета Св. Владимира ехать в Москву и Петербург «для занятий русской историей», а затем заграницу – «для усовершенствования в языках».

И вот уже 5 апреля 1864 г. Иконников сообщал, что Шульгин все же стал доктором. Владимира сильно задела история с Костомаровым, который подал прошение о принятии в Университет Св. Владимира по кафедре русской истории, но некоторые члены факультета стали говорить, что ученый – сепаратист и станет проповедовать свои идеи, «испортит поколение». В понимании Иконникова – это слова «полициантов профессоров, для которых начальственное глажение головки лучше честного слова».

У других же взыграла зависть, говоря, что Костомаров исписался и устарел. Оценка Иконникова была раздраженной: «О старцы, поседелые на кафедрах, вам досадно сочувствие к человеку, стоящему выше вас! И между ними отличаются мнимые друзья Костомарова, которые находятся с ним в переписке и хвастаются его дружбою. Они-то более и кричат против него»<sup>102</sup>.

Это направление «о другом» в конце концов стало нормой писем Иконникова, что видно из эпистолий с начала 1864 г. В них он сообщал, главным образом, об общих знакомых и их делах, а также о разных киевских происшествиях и жизни родного кадетского корпуса. О себе Иконников сообщал немного. В частности, в письме от 5 апреля 1864 г. он сделал важную для нас заметку: «пишу теперь сочинение, над которым трудился целый год и уже написал около 50 листов, но конца еще не вижу». Речь шла о Максиме Греке (рукопись своего труда Иконников подал «под девизом», т.е. без указания имени автора, на конкурс, 28 августа 1864 г. работа была удостоена золотой медали $^{103}$ ). Тут же Владимир сообщал, что собирается заниматься новой историей с одним студентом (как видно из мемуаров ученого, это был его будущий коллега по университету, известный историк Франции Иван Лучицкий). Иконников объяснил, зачем ему это: научиться работать с другим человеком, попробовать быстро осваивать читаемое (он любил читать и думать медленно) и развить голос для будущего преподавания (читать вслух по очереди).

Лишь изредка Иконников теперь, и то мельком, бросал какие-то намеки о прошлом, но больше общего характера. Например, 4 мая 1864 г. он констатировал: «Философия часто расходится с жизнию, потому что мы прежде строим образы, чем увидим их в действительности». Но более того не распространялся, как было ранее, сказав лишь, что, когда Каневский будет в Киеве, «потолкуем больше».

Итак, письма Иконникова в некоторой степени дополняют его мемуары и самоанализ в них, наполняя некой новой

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> ЦГИАУК. Ф. 849. On. 1. Д. 1. Л. 1.



<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Подробнее об этой истории см.: Ульяновський В. Докторський диплом Миколи Костомарова: три візії супутніх подій // Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури. Київ, 2003. С. 203–273.

информацией относительно исторических интересов и научных занятий Иконникова, а также событий окружающего его мира в университете, корпусе, Киеве вообще. Как исторический источник они, безусловно, в этом смысле ценны. Однако эмоциональный, чувственный мир занимает в них несравнимо большее место. И именно эти письма позволяют увидеть эволюционирующий, изменяющийся, пульсирующий эмоциональный и чувственный мир Иконникова, по крайней мере, на протяжении двух лет, пока он переписывался с Каневским (1863–1864).

## Новая переписка

После разрыва и прекращения переписки, когда Каневский поехал служить на Кавказ, письменное общение бывших друзей («мой бывший добрый друг», - так обращался Каневский к Иконникову) возобновилось в 1866 г. Это была инициатива Ивана. Его письмо датируется 3 ноября 1866 г. и было адресовано Иконникову в Харьков (там он в то время преподавал в университете). Каневский сразу же объяснил причину такого «бесцеремонного обращения»: в Харьков поехал его младший брат Александр, поэтому Иван просил Иконникова помочь брату освоиться в чужом городе «ради твоей бывшей привязанности ко мне, ради твоих благородных человеческих инстинктов». Упирая на «бывшие наши хорошие отношения», Каневский надеялся, что Иконников не откажет в помощи брату. Однако Иван не преминул поговорить и о прошлом, их близком общении. Он даже упомянул, что «три года прошло со времени нашей разлуки» и эти три года он «нравственно одинок, как перст», «спрятался в свою скорлупу», и все это время «ниоткуда ни письма, ни строки нравственной поддержки». Это был некий упрек Иконникову – ведь именно он прекратил переписку.

В архиве В.С. Иконникова последующие письма Каневского сохранились с некими перерывами (они не публикуются в этом издании, поскольку нет писем самого Иконникова). После 1866 г. новое письмо Каневского из Тифлиса датировано 16 ноября 1879 г. Содержание письма указывает на то, что переписка после 1866 г. вряд ли возобновилась на постоянной основе. И это письмо наполнено воспоминаниями и рефлексиями. Поводом к



нему стала статья Иконникова об Арсении Мацеевиче, которую прочитал Каневский в «Русской старине»<sup>104</sup>. Имя автора вызвало много светлых воспоминаний и решение написать старому другу. В этом письме много строк было посвящено общему прошлому. Каневский заверял: «я ничего не забыл из того прошлого, которое на рассвете моего сознания свело меня с тобою, редкий год с тех пор я не вынимал твоих листков и писем и не перечитывал их. И теперь, пятнадцать лет спустя, нет в них для меня ничего ребяческого, смешного, напротив, они всегда будят мою душу от тяжелого полусна, в котором идет практическая работа жизни, от них веет на меня молодостью, правдою, сердце бьется под наплывом воспоминаний, а мыслям грустнее, чем когда-нибудь, представляется будущее, и милее, дороже прошедшее. О верь, что все написанное тобою в тех листках и письмах мне понятнее теперь, чем пятнадцать лет назад, когда сквозь призму молодости все доброе и светлое считалось обязательным и не заслуживающим исключительной оценки» 105. Как видим, Каневский не сжег не только писем Иконникова, но и его дневника. Перечитывая их, он предавался ностальгическим воспоминаниям, и юношеские чувства вновь оживали, что подогревалось одиночеством и некой «неприкаянностью души» Ивана Яковлевича.

С другой стороны, Каневский вопрошал друга: «Живу ли я еще в твоей памяти, как ты живешь в моей?». Он писал, что следил за карьерой и творчеством Иконникова «и всем сердцем радовался за тебя», думая,— «он нашел ответы, по крайней мере, возможные на земле ответы, на вопросы, которые мучили и терзали его молодость», нашел удовлетворение и покой. Почти поэтически Иван Яковлевич констатировал: «твоя сфера кажется мне из моего глухого далека такою же отрадною, ясною и успокоительною, какою кажется вчерашняя заря, играющая на серых облаках далекого горизонта в пасмурные, грустные сумерки» 106.



<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Иконников В.С. Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский (1697–1772 гг.): Эпизод из истории секуляризации церковных имуществ в России // Русская старина. 1879. № 4. С. 731–752; № 5. С. 1–34; № 8. С. 577–608; № 9. С. 1–34; № 10. С. 177–198; отдельное издание: Санкт-Петербург, 1979.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> ИР НБУВ. Ф. III. Ед. хр. 49371. Л. 47.

<sup>106</sup> Там же. Л. 47-47 об.

Каневский взывал к бывшим сильным чувствам друга: «Если наши близкие отношения в течение года, или около того, когда мы исповедовали друг другу наши души, оставили следы в тво-их воспоминаниях», – это понадобилось автору для того, чтобы рассказать Иконникову о себе. Но этот рассказ «о себе» постоянно сбивался на «о нас». Уже в первых строках «о себе» Каневский отметил: «Я продолжал «искать истины», как мы ее искали с тобою, гуляя по набережной Днепра или в березовой роще корпуса, первые годы молодости я провел, запершись в своей комнате, читал и учился, но ни в искании этом, ни в учении не было никакой практической подкладки»<sup>107</sup>. Он считал, что в 34 года уже и поздно искать. Напомнив, что друг предсказывал, что он будет литератором, Каневский сообщил о своих литературных пробах, в частности, о публикации рассказа в «Отечественных записках», о котором речь шла выше.

Элегически, в литературном стиле Иван Яковлевич предлагал возобновить переписку: «Если настоящий листок покажется тебе чем-то странным, чуждым, негармонирующим с настоящею жизнью твоего чувства, - брось его. Если от него пахнёт на тебя добрым веянием прошлых молодых лет, - напиши и ты мне что-нибудь о себе... письмо от тебя мне будет так же дорого, как и все прежние письма» 108. Каневский вновь вспомнил о «твоих листках и письмах», то есть, дневнике и переписке 1863-1864 гг., вспомнив, что Иконников опасался превращения их в «предмет посторонней, праздной любознательности». Он заверял, что все это для него неимоверно дорогое воспоминание о прошлом: «Верь, дорогой Владимир Степанович, что эти листки хранятся мною, как дорогая память честной молодости, что вот уже 15 лет, - и ничья посторонняя рука не трогала их ... они останутся для меня тем же дорогим недоступным ничьему взгляду памятником молодости. А когда почему бы то ни было мне пришлось бы расстаться с ними, - верь, они не будут брошены в сор и никогда ничья пошлость глумиться над ними не будет»<sup>109</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> ИР НБУВ. Ф. III. Ед. хр. 49371. Л. 47 об.

<sup>108</sup> Там же. Л. 49 об.

<sup>109</sup> Там же. Л. 49 об.

Неизвестно, почему после 1879 и до 1886 г. письма Каневского не сохранились, хотя, судя по всему, они были. Однако из сохранившихся следующее письмо датировано 19 октября 1886 г. Каневский посылал с ним фотографию, чтобы Иконников, глядя на нее, вспоминал, «что есть далеко от тебя человек, который глубоко любит тебя, безгранично уважает и которому всегда дорога память о тебе»<sup>110</sup>.

И вновь большой перерыв в письмах Каневского до 1899 г. Кажется, он был реальным. Свидетельство тому – письмо брата Ивана Яковлевича Владимира от 3 апреля 1899 г. Он писал, что Иван «был Вашим сотоварищем», а кроме того, Иконников преподавал в корпусе, когда там учился Владимир. Но вот что интересно: именно Иван попросил брата написать Иконникову первым, и если будет ответ, тогда и он сам напишет старому другу. Это и указывает на долгое отсутствие переписки. Владимир сообщал, что Иван во Владивостоке и «очень бы желал получить от Вас хотя пару слов» 111. Иконников ответил, что удивило Владимира, который «даже не думал получить ответ», переслал его брату, сообщив лишь Иконникову, что у Ивана горе – умерла его жена, обе дочери в тот же год вышли замуж и уехали, оба сыновья кадровые военные, так что Иван остался один-одинешенек 112.

Это стало поводом к возобновлению переписки теперь уже на постоянной основе вплоть до 1914 г. В первом письме к старому другу от 7 мая 1899 г. Каневский сравнивал две жизни: «Твоя жизнь, как тихая река, идет плавно и ровно в одних и тех же берегах, отдавая им что может, вызывая их, в свою очередь, к жизни своею творческою работою. Моя – мечется как дикий ручей, вечно меняя русло, бросаясь из стороны в сторону ...» 113. Он заверял, что все время помнил их общее прошлое, связывавшее их юношеские души: «Ни житейская трепка, ни вечные скитания не стерли в памяти моей страницы прошлого, хоть может они и поблекли немного. По прежнему, давнему, помню, люблю и глубоко уважаю тебя, дорогой Владимир Степанович. ... и тем дороже мне

<sup>113</sup> Там же. Ед. хр. 49366. Л. 37.



<sup>110</sup> Там же. Ед. хр. 49370. Л. 44-44 об.

<sup>111</sup> Там же. Ед. хр. 49352. Л. 1-2 об.

<sup>112</sup> Там же. Ед. хр. 49354. Л. 1-1 об.

память ..., что теперь главное содержание моей одинокой жизни – одни воспоминания о невозвратном минувшем»<sup>114</sup>. Любопытно: Иван Яковлевич писал о свидании с другом в Тифлисе, со времени которого прошло много времени. После того у него появилась большая семья (это возможный временной репер указанной встречи): четверо детей, но два года тому назад в 44-летнем возрасте умерла жена, а все дети уже ведут самостоятельную жизнь. Все последующие письма Каневского за 1900 г., главным образом, содержали информацию о брате Владимире, трижды раненном и пребывающем на лечении, посещении его в Пятигорске и пр. 115

22 апреля 1900 г. Каневский писал о желании выйти в отставку. Хотя ежегодно он получает 5 тыс. руб. (это больше профессорской зарплаты Иконникова в 3 тыс.), имеет власть, но «ничто это не манит и не обольщает», ибо «все лучшее безвозвратно ушло, осталось позади и не заменят его ни деньги, ни власть, ни почести». Посему Иван Яковлевич собирался переселиться в Пятигорск, «поближе к костям предков», где еще жила его мать 116. В этом минорном настроении он вновь ностальгировал об общем с Иконниковым прошлом: «Если бы ты знал, как я помню Киев, твою скромную, тихую квартирку под горой, близ Житнего базара, твои всегда нетерпеливо поджидаемые приходы в нашу рощу, наши прогулки, проводы твои меня, юного прапорщика, в Бровары на петушке ...» 117. Минорно-ностальгическое настроение Каневского продолжалось. 17 апреля 1901 г. он писал: «Все идет своим неумолимым путем к концу, жизнь клонится к вечеру, свет ее меркнет и лучшие, отраднейшие минуты этой угасающей жизни – воспоминания о прошлом. И ты, разумеется, - один из ярких, крупных и утешительных образов этого незабвенного прошлого ...»<sup>118</sup>. На фоне этого заявления о конце жизни Каневский сообщал, что второй раз женился на вдове с детьми, прибавив: «конечно, не пылая страстями, а из тяжкого страха перед призраком одинокой, бесприютной старости, горькой, заброшенной - конца в одинокой квартире на

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> ИР НБУВ. Ф. III. Ед. хр. 49366. Л. 37 об.

<sup>115</sup> Там же. Ед. хр. 49347–49351.

<sup>116</sup> Там же. Ед. хр. 49367. Л. 35 об. – 36.

<sup>117</sup> Там же. Л. 36 об.

<sup>118</sup> Там же. Ед. хр. 49366. Л. 31.

руках и во власти наемной прислуги – страшная картина»<sup>119</sup>. При этом его не покидало «утомление от жизни», причиной которого была то, что Иван Яковлевич «всю жизнь работал работу нелюбимую, чуждую моему духу, шел совсем не своею дорогою»<sup>120</sup>.

По-видимому, женитьба и новая большая семья не позволили Каневскому выйти в отставку. В мае 1902 г. он уже писал Иконникову с нового места службы в Одессе. Его письмо наполнено ксенофобией (город он называет «жидовской столицей», «окунулся в волны жидовской культуры»), с одной стороны, и русофильством, – с другой. Теперь он был уверен в новой встрече с Иконниковым, постольку расстояние не столь большое, и в Киеве жила с семьей его дочь. Каневский опять ностальгировал: «тянет меня в Киев – благословенный город, где расцветали лучшие юные силы души, где сердце раскрывало лепестки солнцу и жизни. Боже мой! Как все это давно было. Вот и хочется, страстно хочется в дорогой беседе с тобою ... воскресить на минуту эти золотые, безвозвратно минувшие дни, которые мы вместе переживали» 1212.

В Киев Каневский выбрался в июле 1902 г. Через полгода (январь 1903 г.) он планировал при первой возможности вновь побывать в Киеве, «из которого летом, после свидания с тобою, – увез самое отрадное утешение, самую светлую душевную радость» 123. А в феврале 1905 г. Каневский, получив в подарок от Иконникова его книгу о Киеве 124, писал, что Киев он «крепко любит и помнит, который жив в сердце моем, потому что в нем стало пробуждаться это сердце к жизни и тянуться к свету». Интересна особенно последняя глава, «обнимающая ту эпоху киевской жизни, которая близка к времени нашего пребывания с тобою в корпусе» События 1905 г. вызвали у Каневского неприятие и верноподданнические чувства к царю – «спасителю Отечества» (письмо от 26 июня 1905 г.) 126.

<sup>126</sup> Там же. Ед. хр. 49355. Л. 1-2.



<sup>119</sup> Там же. Л. 31-31 об.

<sup>120</sup> Там же. Л. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Там же. Ед. хр. 49365. Л. 28-30.

<sup>122</sup> Там же. Ед. хр. 49364. Л. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Там же. Ед. хр. 49362. Л. 25 об.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Иконников В.С. Киев в 1654–1855 гг.: Исторический очерк. Киев, 1904.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> ИР НБУВ. Ф. III. Ед. хр. 49361. Л. 22-24 об.

Патриотический и монархический пыл Каневского все нарастал. В июле 1910 г. он писал Иконникову из Пятигорска: «За себя глубоко скорблю, что попал в такую колею, в которой тлеет под спудом мое знамя с надписью Fiat patria – pere at mundos, что судьба не бросила меня в самый пыл отчаянной, хотя бы кровавой борьбы за эту несчастную патрию, разрушаемую и раздираемую инородными и своими доморощенными государевыми ворами и разбойниками» 127. Ко всем этим «разрушителям» России Каневский относил поляков, «жидов» и прочих нерусских.

В контексте отношений Каневский - Иконников интересно письмо Ивана Яковлевича к другу от 28 августа 1911 г. В нем он вновь пишет о перечитанном дневнике и письмах товарища: «Дорогой Владимир Степанович, подводя итоги своего бытия, чему ныне приспело доброе время, перечитал твои тетрадки, которые хранились у меня почти пятьдесят лет. С глубокими чувствами и тоски о невозвратном прошлом, и сладостных воспоминаний о нем читал я эти пожелтевшие листки, на которых изливались порывы и переживания твоей юной души, рвавшейся к жизни и свету, мятущейся в поисках истинной правды и смысла этой жизни»<sup>128</sup>. При этом Иван Яковлевич подумал, что «пора позаботиться об этой дорогой реликвии наших юных дней». Но сам он не мог решить, как поступить, посему просил указания друга: «Хотя это и увядшие и усохшие цветы, но ничья чуждая рука не должна коснуться их, ничья грубая нога не должна попирать их. Напиши мне, как поступить с ними: здесь ли, на месте, сжечь их, обратить в космическую пыль, к которой и нас мчит неумолимое время, или выслать их тебе; как напишешь, так в точности и сделаю»<sup>129</sup>. Но самым важным в этом письме было высказанное желание написать свои воспоминания о жизни в корпусе. Вот что по этому поводу непосредственно говорил Каневский: «Хотелось бы собрать последние силы и написать воспоминания о нашем корпусе исключительно с целью в конце концов поставить вопрос: почему жестокий режим нашего воспитания с розгами, голодом, холодом, безграничным произволом тупых болванов-вос-

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> ИР НБУВ. Ф. III. Ед. хр. 49359. Л.12-12 об.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Там же. Ед. хр. 49357. Л. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Там же. Л. 8 об.

питателей, армейских офицеров, с жалким наполовину составом учителей (в маленьких классах) при дрянных учебниках – давал дюдей, и почему современная гуманно-культурная педагогия с сравнительно прекрасными средствами обучения, отличными учебниками, с родительскими комитетами, горячими завтраками, с неприкосновенностью гимназических ушей и спин – дает убийц директоров и учителей за неправильно якобы поставленную отметку, дает массу самоубийц «от разочарования жизнью», неразделенной любви ...»<sup>130</sup>. Это письмо завершалось уверением: «Искренне тебя любящий, всегда тебя помнящий как милого доброго друга»<sup>131</sup>. Как кажется, Иван Яковлевич так и не собрался написать мемуары, ибо до самого 1914 г. о них не было и речи в письмах к другу.

Последнее письмо Каневского в архиве Иконникова датировано 1 ноября 1914 г. Его вновь терзали раздумья о судьбах Отечества. Каневский писал: «Как бы мне хотелось повидаться с тобою теперь, чтобы обменяться мыслями о великих днях, переживаемых нами. Ты всю жизнь углублялся в историю человечества отошедших веков, – встречались ли тебе в глубине этих веков события, равные совершающимся ныне?» 132.

Мы не знаем дальнейшей судьбы Ивана Яковлевича Каневского – в открытых источниках дата его смерти не указана. Во всяком случае, после 1914 г. никаких писем к Иконникову в архиве историка нет. Однако их теплые, дружеские, даже любовные (в платоническом смысле) юношеские отношения, переросшие затем в общение двух старых друзей, сохранили аромат той старой теплоты и нежной дружбы, о котором они регулярно вспоминали даже в 70-летнем возрасте. Эмоции притупились или направились в другие миры, на других людей, а теплота чувств двух друзей осталась навсегда.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Там же. Л.11-11 об.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Там же. Л. 9.

<sup>132</sup> Там же. Ед. хр. 49356. Л. 4 об., 7.



B Unamunoly



И. Каневский. Первая пол. 1860-х гг.

П-59550. Ивань Аковлевичь Гланевскій. Командирь Кавказскаго Стрълковаго Артиллерійскаго Дивизіона.

Go probber en go. a)

goporar

Bragunipi Cinenanslura

Za rus pe ombnimmed por

True 6 as?



Письма Каневского набраны *курсивом*, письма Иконникова – прямым шрифтом; все они представлены в хронологическом порядке, со сплошной нумерацией, но отдельной для каждого адресанта: для Каневского – *курсивом*, для Иконникова – прямым шрифтом.

При публикации раскрываются сокращения (кроме общепринятых), устаревшие написания окончаний слов (на -аго) и букв приведены по нормам современного русского языка, в некоторых местах проставлены недостающие знаки пунктуации

### *N*<sub>2</sub> 1

Кромы, 15, 21 августа

Получил ли ты, дорогой мой, мое письмо из Нежина? Дай Боже, чтобы оно попало в твои руки, а то воображаю твои мысли и твое состояние, если бы ты до сих пор не имел от меня никакой вести. Я опять тебе повторяю, не грусти, не тоскуй. Мысль о твоем безвыходном состоянии во время тоскливых минут, положении почти что отчаянном, для меня тягостна в высшей степени. Занимайся с спокойным духом своими книгами с полною уверенностью, что я всегда буду помнить твои душевные страдания, твою любовь, твое недовольство тем, что мысляший человек не может быть доволен, – а когда предо мною лежит израненная, истерзанная этими орудиями мучительнейшей пытки душа человеческая, я не остаюсь неподвижным, все мое говорит мне много, много. Правда, что нередко, несмотря на этот говор сердца, на мне лежит какой-то камень, какая-то тяжесть гнетет мое существо, не позволяет мне быть тем, чем бы я хотел быть, чем бы я должен быть... Бог знает, что это за неурядица, но, впрочем, оставим ее в покое, мне тяжело и думать об этом.

Дорога наша самая неспокойная, какую только можно себе представить; ночлеги убийственны, ночи холодны, все ужасно надоело. В Москве будем еще через неделю. По приезде в Петербург сейчас напишу тебе мой адрес, чтобы ты скорее мог мне писать. Если прочел дневник — присылай его — думаю продолжать. Напиши, какое впечатление произвел он на тебя. Так же, ради Бога, узнай о состоянии Рудыковского и непременно напиши мне о нем, что можно. Он собирался делать операцию, если будешь видеть его, — кланяйся. Кланяйся брату, скажи, что я люблю его и помню. Кланяйся и Гирсу и, наконец, прощай сам; гадко так писал потому, что окружен страшными неудобствами.

Твой Каневский.

Я писал тебе из Кром, но в тот день, когда мы там были, был праздник, и письма отправить было нельзя. В Туле у меня смертельно болела голова, а до почты было очень далеко, день был жаркий, и я не решался нести письма. Теперь я делаю эту приписку тебе из какой-то деревни под Москвою, а письмо отправлю из Москвы. Узнай, когда будешь в корпусе, нет ли мне письма, и присылай мне, если есть. Передай брату записку.

21 августа. Твой Каневский.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49378, л. 91–93 об. Автограф, конверт отсутствует.

 $N^{\circ}$  2

23 августа 1863\*

Бедный мой страдающий друг!

О, как бы я хотел, чтобы это слово <u>друг</u> нашло в глубине сердца моего такой же отклик любви, как и в твоем, чтобы это слово обняло собою всю душу мою, все существо мое. О, будем надеяться, мой милый, что эта желанная минута наступит для нас и даст нам много, много.

Ты спрашиваешь, какую жертву я принес тебе? Теперь, когда мы далеко друг от дуга, не будет хвастовством с моей стороны высказать, в чем состояла моя, хотя и маленькая, жертва. Из дневника моего ты, верно, знаешь, что я когда-то

<sup>\*</sup> Письмо адресовано студенту университета, в Университет Св. Владимира, не по домашнему адресу (как и последующие). Датируется по штампу на конверте.



любил одного кадета, Стефановича, другого, Кржижановского, я любил и люблю не менее, наконец, при разлуке с братом у меня сильно зашевелилось сердце, и я внимательно стал поглядывать на его детское личико, на его беззащитную головку. Да, я еще сильнее полюбил их всех и охотно, очень охотно хотел бы провесть с ними последнее время перед отъездом. Но я не мог бросить тебя и пойти побыть с ними при одном взгляде на твое горестное лицо. Помни, что эта высшая степень откровенности вызвана самим тобою и это признание не увидело бы никогда света Божьего, если бы его не просил ты, потому в нем нет и тени хвастовства.

Один мой завет тебе, одна моя просьба — не грусти за мною, не скучай, для меня нестерпима мысль, что тоска и однообразие механической жизни твоей убивает душу в тебе, парализирует все твой занятия. И так, не тоскуй, не грусти, пусть и тоску разлуки победит душа. Я пишу тебе из Нежина. Записки со Стокалимовым не передал, потому что ни он, ни Четинич (?) не приезжали. Буду еще писать тебе з Тулы, или из Орла. Когда будешь в корпусе, кланяйся Гирсу, приласкай брата и отдай брату записку.

Твой Каневский.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49379, л. 94–96 об. Автограф, конверт со штампом из Санкт-Петербурга, дата и год 23 августа 1863 г. наведены ручкой позднее, оригинальная надпись не читается.

## $N^{\circ}$ 3

27 августа 1863 г.

О, если б ты только знал, мой добрый Иконников, в каком грустном и тоскливом состоянии я нахожусь теперь, в этом мертвящем, ужасном Петербурге! Я давно уже позабыл, когда испытывал подобные внутренние муки, когда подобное чувство бессилия, отчуждения овладевало моей несчастной душонкой! Нет возможности вполне высказать тебе тот холодный прием, которым подарил нас этот желанный Петербург. Привезли нас в Константиновское училище — там не приняли, оказалось, что штаб нас разделил иначе, нежели Вольский, и я попал вместо Константиновского училища в Павловское. Адрес же мой таков: юнкеру Павловского военного училища, 3 роты Ивану Каневскому, в г. Петербург.



По получении этого письма пиши мне сию же секунду, ради Бога, пиши, мне кажется, что за одну строчку из Киева я бы Бог весть что отдал. Да, смешно, но справедливо: почти каждый из нас только и бредит этим мирным, дорогим Киевом, из которого всякий же из нас рвался, как сумасшедший с цепи, а я то чуть ли не больше всех жалею за моим бедным Киевом, и с дорогой бы душой помчался туда, к вам, в нашу рошу, даже в наш корпус!

О, горе мне, горе! Я, проснувшись рано, рано утром на другой день по поглощении меня этим неизмерим(ым) Петербургом, я плакал, не плакавши уже несколько лет, забыв, что значит слезы! Горько вспомнить, что за жалкое, бедное существо был я в эти, столь редкие минуты горчайшей тоски. Как пришибленный щенок, я мог только пищать и неистово визжать от нестерпимой боли! И я чуть не ломал себе руки на постели в это утро! Как будто я другой раз простился с родиной и родными. Но, расставшись первый раз, я уезжал не один, со мной все еще были родные, обо мне заботились, меня, кажется, любили. Я теперь совершенно один! И на горе, у меня какая-то робкая, не самостоятельная, не заржавевшая душа, еще до сих пор требующая иной, чужой заботы о мне, хоть в каком бы то ни было отношении. Воображаю ж я себя себе, когда приеду в свой полк, к месту назначения, когда придется окончательно уже служить. Боже мой, какою ж бесцельною, бессмысленною показалась мне моя милая будущность в офицерском чине! Горько, так горько, что и не говори, а надо покоряться. Пусть же хоть эта покорность будет то, в чем я могу видеть и узнать и измерить себя и свои силы, потому что, чтобы и покоряться, надо иметь в себе силу!

Довольно, однако, петь на этот мотив, беды не поправить. Пиши мне, что ты теперь делаешь. Ради Бога, не тоскуй, пиши мне больше, все пиши, что возможно. Пришли мой дневник, он мне дорог как вспоминание прошлого. Много в моем письме нескладицы, но на бумаге то, что и в голове, а Петербург и новое положение меня ошеломили. Я пишу брату и кадету Кржижановскому на твое имя, будь же добр, передай им это письмо. Гирсу тоже буду завтра же писать.

В письмах будь поосторожнее насчет нашей <u>домашней</u> <u>политики</u>, Бог знает, чрез какую цензуру будут они проходить. Пиши же, дорогой, скорее и больше. Твой Каневский.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49377, л. 67–70. Автограф, конверт со штампом из Санкт-Петербурга 29 августа 1863 г.



Вчера только отправил я тебе письмо, мой дорогой Иконников, а сегодня уже принимаюсь за новое. Это сделать заставило меня беспокойство за первое, так как, отправляя его, я с ним же отправил еще три письма, а такое количество их, кажется, возбудило подозрение того господина, который принимает их в почтамте; и страшно боюсь я за эти письма, так как там содержится мой адрес, и если они пропадут, то мне долго, долго придется чаять от тебя и от других родной весточки.

О, если б ты был со мною здесь, ты бы увидел, как безумно, как страшно я скучаю за Киевом, за всеми вами. Уже шестой день я в Петербурге, а сегодня я, как больное дитя, ходил из угла в угол и плакал, плакал. А я думал, что уже больше не придется плакать мне в жизни, я воображал только смеяться, да разве в самых особенных случаях вздыхать да напускать на физиономию великий пост. И на грех меня нарядили сегодня дежурным по лазарету: я один одинешенек чуть не сошел с ума в пустом лазарете, да на счастье пришел ко мне из Константиновского училища Оберман, мы поболтали да и засели за письма. Сегодня же я напишу также другое уже письмо Гирсу, брату и Кржижановскому, чтобы в случае пропажи первых писем они знали мой адрес и могли бы мне писать. На всякий случай пишу тебе вторично мой адрес: юнкеру Павловского военного училища, 3 роты Ивану Каневскому, в г. Петербург.

Исполняй же свое обещание, отвечай мне скорее и больше пиши. Я буду тебе также часто писать, писать, сколько хватит сил. Теперь вся моя отрада в письмах, мне надо любви, а кругом так мертво, что хоть умирай. Не оставь, милый, моего брата, когда будешь в корпусе, навещай, поласкай его; мне жалко его, хочется плакать, как вспомню его бесприютную, маленькую головку. Я пишу к нему письмо сегодня; отдай также приписку Рудыковскому, если можешь.

Целую тебя, дорогой мой друг, и не оставь меня, я горько упал духом. Каневский.

<sup>\*</sup> Год проставлен по штампу на конверте.

Измени так мой адрес: <u>юнкеру такому-то в Павловское</u> военное училище, на Васильевском острове, в 1 линии, в г. Петербург.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49376, л. 63–66. Автограф, конверт со штампами: «Санкт-Петербург 5 сентября 1863 г.», «Киев 10 сентября 1863 г.»

## *N*<sup>2</sup> 5

6 сентября

Не упускаю из виду случай побеседовать с тобой, дорогой мой Иконников, и пишу тебе длинное послание, хотя и на серой бумаге. Это письмо тебе передаст Гирс, а посылаю я его через наших солдат, которые скоро поедут в Киев, только едут они, кажется, на долгих, и письмо то нескоро попадет в твои руки. Но лучше поздно, чем никогда. А я уже пишу это пятое письмо тебе с дороги; к 15 сентября жду от тебя первого ответа. А Гирс потешил меня, через Харчевского прислал письмо, и обрадовался же я ему, как царствию небесному; так скучаю здесь, что сказать трудно. Теперь еще немного успокочлся, обощелся, а из предыдущих писем ты видел, в каком болезненном состоянии я был. Завтра буду продолжать, сегодня устал, много писал.

7 сентября

Придется писать тебе урывками, так у нас время разбито для занятий, что трудно сыскать большой промежуток его. Только что четырех часов пополудни мы представлены сами себе, а до этого времени, с самого утра, мы переходим из рук в руки, из одной мастерской в другую, и обделывают же нас, трудятся над нами до истощения сил. То классы, то ученье, то гимнастика – еще и это, впрочем, не все, скоро еще будет верховая езда, фехтованье, стрельба в цель. Видишь ли, мудрили, мудрили, прошли так наше училище, чтобы вышло побольше времени нам, для наших занятий, ан вышла такая штука, что это время так целиком и осталось на бумаге, в проекте, а в действительности его на лицо оказывается весьма мало. А занятий предстоит гибель; теперь нам читают все предметы в аудиториях, куда собирают всех, поклассно; по прочтении же из каждой науки целого отдела нас будут репетировать в отделениях. Христос их знает, что за цель такая. Да лучше всего, ты попроси Гирса, он достанет тебе



наши правила, которые кадеты нашего корпуса шлют товарищам и друзьям своим, чтобы умерить их пылкое стремление к  $\Pi$ етербургу.  $\Pi$ рочти — и ты скажешь, что мы именно пошли из пульки в рогатку. Не могу еще до сих пор тебе определенно сказать, когда я выйду, в 1864-м или в следующем году. Все зависит от того, уничтожат ли артиллерийское училище, или нет. Я уже слышал о его уничтожении, но не знаю, верный ли это слух. Если да, то летом мы увидимся. Я бы от всего моего сердиа желал, чтобы оправдался этот благодетельный слух; видишь, если будет существовать это училище, то все таки оно будет искушать меня, манить в себя разными преимуществами, и я, вероятно, почту его моим пребыванием, если буду в силах. Но если его уничтожат, то уже деваться будет некуда, и я помчусь на Кавказ, нечего и говорить, что чрез Киев, хотя бы это заставило меня сделать тысячу верст лишних. И, конечно, буду жить с вами в Киеве, сколько будет возможно. О, дай Бог, чтобы эти воздушные замки осуществились.

Гирс мне пишет про какое-то письмо и деньги, сколько я могу догадаться, то это, верно, прислали с Кавказа; и говорит он мне, что ты собираешься их выслать; когда б то поскорей, а то я уже почти два месяца ни строчки не получал из дому. Да и денег мне бы надо было, надо купить кой-какие учебники, иначе нельзя заниматься. Впрочем, я буду скоро писать тебе по почте, как только получу от тебя хоть одно письмо, и попрошу у тебя совета, по какому учебнику заняться психологиею. Должен сказать тебе прегрустную вещь: я много, много хотел прочесть, узнать в этот год, да только, кажись, не придется осуществить этого намерения, так глупо распределены наши занятия, так мало времени остается от милых занятий артиллериею с сестрами.

Ты можешь себе представить, как весело для меня пройдет эта зима и весна. В театре я еще не был, не знаю, придется ли быть. Что делать, придется потерпеть. Да, впрочем, и дальше разве не придется терпеть и терпеть? Впрочем, не хочу, довольно углубляться в будущее, не скажу ничего хорошего. Бог знает, что будет из меня!

Прочел ли ты мой дневник? Какие мысли он на тебя нагнал? Не думаю, чтобы веселые. О, если бы ты знал, как я мучился, писавши его! Поверь, что там нет ни одного слова так себе, для потехи, для забавы, ради эффекта. Да и теперь, разве минуты только забудешься, придушишь в себе голос тоски



насильно. А главное, какой тоски, по чем тоски? Хуже всего, что не знаешь, куда рвешься, чего бышься, как дикая лошадь на аркане. Посмотрим, что будет дальше, кажется, что мало хорошего. Пиши мне побольше о чем-нибудь, на чем бы можно остановиться и свободно отдохнуть, что бы заронило искру света в мою темную голову. Я тогда буду хватать каждое питающее слово твое, потому здесь, на тощей артиллерии да тактике, не умереть с голоду. В тысячу раз было бы лучше, если б я остался в Киеве; там бы было время что-нибудь узнать, с чем-нибудь ознакомиться как следует, было бы время читать, несмотря на те же занятия. По крайней мере, не водили бы 6 раз в неделю на ученье. Боже, неужели целую жизнь придется так жестоко ошибаться, как я ошибся при отъезде в Петербург. Впрочем, правду говоря, я не столько хотел видеть Петербург, сколько хотел избавиться моего фельдфебельства в 1 роте, которое становилось не под силу мне. А самый Петербург меня нисколько не привлекал и не привлекает.

Ты как то меня предостерегал от Невского. Пошел я туда раз нарочно, чтобы посмотреть, что там за ундины ловят на удочку карманы легкосердых личностей. Пошел я туда и воротился в полном разочарованьи. Такие хари, такие рожи, так наглы и бесстыдны, что нагоняют если не чувство омерзения, то наверное далеко отгоняют от себя. Да и едва ли бы я решился сделать в этом отношении окончательно смелый шаг, хотя бы представился к тому самый разудобный случай. Я не очень то уверен в своем здоровье, а пристукни меня какая-нибудь болезнь — то и поминай как звали. Жить мне хотя и не очень весело, а все же нет большой охоты умирать. Да еще сверх того и времени то нет бегать по Невскому, так что я вполне спокоен на этот счет.

Как только я узнаю что-нибудь насчет моей будущей участи, т.е. будет ли возможность попасть в местную Академию и как туда можно попасть, я тот час тебе напишу. До сих пор еще я ни с кем не познакомился, ни о чем не разузнал. Родных здесь еще не нашел, да и не искал; натолкнет случай – хорошо, нет — так и так будет.

Исполняй же обещанье свое — пиши мне больше. Отчего ты не написал ни слова чрез Харчевского? Целую тебя, твой Каневский.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49385, л. 110–113. Автограф, конверт отсутствует.



4 сентября\* 63 г.\*\*

Наконец, дорогой друг, я получил твое письмо и из Петербурга. О двух предыдущих письмах своих с дороги ты не беспокойся, – я их получил. Они мне доставили большое удовольствие среди моей однообразной жизни и житейской пустоты. Не думай, однако, чтобы я их оставлял без ответа; напротив - я при первом вдохновении садился и отвечал тебе, надеясь переслать все свои письма тебе, вместе с дневником; даже лучше сказать, что и мои письма были ни что иное, как дневник, потому что я записывал в них все, что чувствовалось на душе и в другое время кроме получения твоих писем. Сегодня утром я тоже записал кое-что, но что такое – ты узнаешь, когда я вышлю тебе дневник твой вместе с моими письмами. Я это сделаю скоро при первой экспедиции тяжелой почты - следовательно, много через неделю. Вот почему удерживаюсь повторять здесь рассказ о тех впечатлениях, которые сопровождали меня от твоего прощания и до настоящего времени, удерживаюсь потому, что заставлять себя переиспытывать вторично те же чувства и при том на бумаге – вещь невозможная. Сколько я ни присматривался к жизни, сколько я ни вникал в ее разнообразнейшие оттенки – я заметил одно, что самое трудное для человека заключается в определении цели, к которой он должен стремиться. Лишь только он сознал эту цель, – он должен идти к ней неуклонно, с тем убеждением, что лучше пасть в честной борьбе, нежели уступить пустому тщеславию света; потому что один исход и тогда, когда человек сознает цель, но не идет к ней, и тогда, когда он решится сдаться без бою. Этот исход – глубокая скорбь неудовлетворенной души. Справедливо заметил один известный человек, что в жизни нашей есть две поддержки - воспоминания о прошлом и надежды на будущее. Лишив себя

<sup>\*\*</sup> Во всех случаях год проставлен автором позже.



<sup>\*</sup> Зачеркнуто: «августа».

того и другого, человек стал бы автоматом, он должен был бы отказаться от прогресса индивидуальной жизни. Ведь мы же живем для чего-нибудь, и сказать так, как ты говоришь, т.е., что для тебя закрыто все лучшее в жизни, мне кажется, значит отказаться от личной самодеятельности, убить в себе энергию духа, сдаться без бою в руки пустосветской апатии или гнилой обломовщины. Эта апатия, эта обломовщина, которую испытываешь ты, которую испытываю я, которую испытывает каждый из нас на себе в том или другом случае есть болезнь целого общества, которому нечего делать сверх обыкновенных житейских обязанностей, сверх удовлетворения обыкновенных потребностей. Но уже мы много сделали, когда сознали эту пустоту; неужели же остановиться на половине дороги? А между тем ты, говоря, что уже тебе нечего делать более, - сам поддаешься этому разлагающему элементу общественной жизни, который у нас слывет под именем обломовщины. Правда, тебя спасает много еще твой порывистый характер, который тебя будит и в самую апатичную минуту; ты в этом случае счастливее многих других, но не забывай, что отказаться от борьбы – значит признать себя преждевременно побежденным тогда, по выражению одного поэта:

> Вдали от солнца и природы, Вдали от света и искусства, Вдали от жизни и любви Мелькнут твои младые годы, Живые помертвеют чувства, Мечты развеются твои. И жизнь твоя пройдет незрима, В краю безлюдном, безымянном, На незамеченной земле, -Как исчезает облак дыма На небе тусклом и туманном, В осенней беспредельной мгле...

Берегись этого! К счастью, я в твоем письме заметил уже решимость на борьбу. Дай Бог, чтобы она была счастлива! Вот мое искреннее желание. Не забывай, что искренность и свобода в мнени-



ях должны быть основаниями нашей переписки, а иначе наши письма будут просто бумагою, на которую накладывают золотые листики, без которых она продается на медные деньги.

Прошу тебя, прочти Шлоссера и Бокля – они тебе дадут многое для понимания и себя и людей. Позаботься о Лесном институте, пока ты еще в корпусе, потому что Хоржевскому отказали, так как он служащий.

Пришли портрет, когда снимешь. Твой брат уже 3 письма отправил на Кавказ. Он ходит в отпуск к Щербине. Рудыковский получил деньги для тебя и брата и уже давно выслал их в Константиновское училище, не сказав ничего прежде мне. Напиши об этом и справься в Константиновском училище или в почтамте. Может быть, их возвратили назад. Рудыковский теперь в клинике, и на днях ему должны были делать операцию, но я пока еще ничего не знаю. Гирс тебе кланяется.

Еще прошу тебя, пусть те письма, которые я писал к тебе в Киев, останутся известными только тебе, а если нельзя иначе, то лучше сожги их. Я писал их, как говорило мне сердце, а человек не властен в своем сердце; «он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать ему свободу» (слова Екатерины II). Толпа их не поймет, а напротив — она готова будет осмеять их, а это очень больно ... Не правда ли?..

Жду с нетерпением ответа.

Надоевший тебе, но вполне сочувствующий тебе человек.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 366, л. 1–3 об. Автограф.

## Nº 2

12 сентября 63

Вот и другое письмо отправляю к тебе, мой друг. Меня и удивило и порадовало, что ты так скоро написал вторично из Петербурга. На первых порах ты спешишь высказаться, а между тем кругом тебя пусто, и глухо, «и некому руку подать



в минуту печальной невзгоды». И вот твой взор хотел бы успокоиться на чем-нибудь, но это <u>чтонибудь</u> не может еще принадлежать пока твоему настоящему, потому что оно тебе еще не совсем знакомо, ты его боишься и остерегаешься, да, наконец, и что же такое твое настоящее, как не простой сборник внешним образом сшитых, подобных тебе существ, с однообразною обстановкою – из казенных столов и скамеек. Ведешь ли ты борьбу? – мало дела до этого этим существам, которые едва знают, что такое борьба, а если бы ты и сказал им о своей борьбе, то они, быть может, ответили бы тебе словами Лермонтова:

Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои волненья, Надежды глупые первоначальных лет, Рассудка злые сожаленья?

И ты отвернешься от этих, всегда довольных умников, умников поесть, попить, погулять ... умников потому только, что ни одна серьезная мысль не коснулась еще поверхности их мозга.

Я писал тебе в прошлом письме, что воспоминание и надежда – две опоры в нашей жизни, а твое настоящее еще не может служить материалом для тревоги и задатком для будущего, но пословица говорит: «стерпится - слюбится». Быть может, она исполнится и над тобою, также как над многими другими. Я много знаю подобных примеров, что ты увидишь из моих писем к тебе, которые я пришлю тебе вместе с дневником твоим. Но я не желал бы, чтобы эта пословица сбылась на тебе, потому что ты тогда превратишься в холодное, равнодушное существо, а подобные качества не дают ничего положительного. Дневник твой я должен выслать несколько позже обещанного, по причине, которую ты узнаешь из тех же писем. Вчера я видел Гирса; он завтра посылает тебе письмо и сказал, что еще к тебе в этот же день пошлют до 20 писем. Завтра я буду в корпусе и буду видеться с твоим братом. Письмо твое я передал Рудыковскому. Операция ему сошла благополучно. Получил ли ты 10 рублей, которые он тебе выслал? - напиши об этом.

Наступает осень - скучное время, по общему мнению, а для нас книжников – время, заставляющее исключительно заключиться в книгу; длинные вечера и однообразие природы навеют много разных дум, смысл которых у меня будет зависеть от целого настроения моего, а это настроение не может быть так переменчиво, как твое, потому что я не слишком поддаюсь впечатлениям внешности, которой я уже давно не доверяю. Вот почему и в минуты однообразной, скучной, осенней обстановки – ты найдешь в моем искреннем чувстве то же постоянное сочувствие (если еще не большее). Тебе следует быть только вполне откровенным, как был ты откровенным здесь. Меня поразила в последнем твоем письме какая-то податливость чему-то другому, которое для меня пока еще не вполне разъяснилось. Я сличил твою тоску о Киеве, выраженную в последнем письме, с твоим решительным голосом в Киеве: «Я хочу ехать в Петербург, хоть в лужу – лишь бы не оставаться в этом гадком Киеве, точно в помойной яме». И вот ты попал из помойной ямы в лужу, но ведь и из лужи иногда несет помойною ямою, только она иногда бывает поглубже последней.

Вот что значит <u>быть</u> и <u>казаться</u> – пойми это. Жду с нетерпением ответа. Вполне сочувствующий тебе человек.

Мне кажется, лучше будет, если ты не будешь упоминать в письме фамилии, когда относишься ко мне как к лицу, а заменишь ее чем-нибудь другим. Это простая предосторожность – не всякий оценит наши отношения.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 367, л. 1–2 об. Автограф.

Nº 6

15 сентября 1863\*

Зачем ты пишешь «надоевший тебе»? Нет, мой милый, не надоевший, далеко нет, друг мой, и это тебе доказывает то, что в самый день получения письма я сажусь тебе отвечать.

Датируется по штампу на конверте: Санкт-Петербург 15 сентября 1863 г., Киев 20 сентября.



И если только будет возможность с моей стороны, физическая конечно, то поверь, что ни одно твое письмо не останется без ответа.

Ты, верно, удивишься, получив мое письмо от 30 августа, где в приписке я прошу тебя о высылке денег. Но я не получал от Рудыковского ничего и очень недоволен за его распоряжение. Если еще ты не выслал мне просимых денег, то и не высылай, пожалуйста, я хоть и не получил тех, о которых ты мне пишешь, но верно же получу. Я уже поручил справиться в Константиновском училище.

Ты мне пишешь о <u>борьбе</u>, угрожаешь мне обломовщиной! Черта с два я бы поддался этому парализирующему яду, никогда бы душа моя не познакомилась с сонливым бездействием, если бы я видел какой-нибудь исход моей внутренней работы, если бы я видел конечную цель. А какая тут тебе цель? Я, пожалуй, тоже не то, чтобы совсем без деятельности проживаю настоящее время, впереди лежит целая куча навозу, обломков разных тактик да груды лафетов и орудий; изволька целый год рыться в этих чумных развалинах; и машина тоже не стоит в покое, и она гремит колесами да рычагами день и ночь, работает, да работает; какая, подумаешь, богатая деятельность!

Ты мне советуешь прочесть Бокля да Шлоссера; неужели я бы, думаешь, не прочел, если бы впереди предвиделось хоть немного времени? Нет, все, все умели чем-нибудь заполнить, не ученьем, так гимнастикой заткнуть малейший свободный промежуток. Веселый год впереди! Я имею к тебе маленькую просьбу: напиши мне в первом письме, что ты поручаешь мне напечатать свои стихи в каком-нибудь журнале. Видишь ли в чем дело: я хочу попытать счастья с моими убогими рождениями, конечно, с целью практическою – добыть деньги, а наши правила запрещают юнкерам печатать свои сочинения. Так, в случае допроса и розысков, я буду в состоянии опираться на твое письмо, как на документ, доказывающий мою невиновность. Недели через  $2^{-1}/_{2}$  ты получишь от Гирса длинное послание мое, которое я послал с нашими солдатами, возвратившимися в корпус из Питера. За свои письма будь покоен; ни эти, которые ты пишешь, ни те, которые ты мне писал в Киеве, в особенности те, – ни одна душа живая не прочтет с моего ведома; а спрятаны они под замком, их же душа, их святой смысл и жар спрятаны глубоко в моей собственной



душе, и никакая холодная рука не коснется их. Скажу тебе откровенно по твоему желанию: твое письмо, мне кажется, помрачено оттенком холодности, которая мне не была знакома доселе в тебе. Слава Богу и счастье мне, если это несправедливо. Отвечай мне также прямо, как я у тебя спрашиваю. Если есть причина — выскажи.

Благодарю за поклон Гирсу, благодарю тебя за сведения о брате. Пиши, если знаешь, что операция Рудыковского. <u>С</u> <u>нетерпением жду ответа</u>, кажется, имею право на это нетерпение? Остагось любящий тебя И. Каневский. 13 сентября 1863 г.

Если не будет трудно, то ты сделай тетрадку, разлиней ее и записывай погоду киевскую каждый день. Я тоже делаю здесь. Интересно через год будет сравнить. Пожалуйста, если только это не затруднит тебя.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49375, л. 58–62. Автограф, конверт со штампами: «Санкт-Петербург 15 сентября 1863 г.», «Киев 20 сентября 1863 г.».

### Nº 3

21 сентября 63 г.

Не знаю, насколько справедливы твои слова насчет той холодности, которую ты нашел в моем прежнем письме; я скажу только то, что я писал, как чувствовал, а почему я так чувствовал и что руководило этим чувством — и сам не могу определить; я не нахожу даже там той холодности, какую ты старался найти, впрочем, чужие промахи и ошибки легче заметить, и тебе они виднее, чем самому мне, потому что я мог писать под впечатлением минуты, обстановки, ты же — читал без предубеждения...

Если любопытствуешь, какую жизнь я веду, то это легко определить, но трудно пересказать. Жизнь, правда, также однообразна, как и была, но она стала как-то положительнее, беззаботнее (не в дурном смысле) и даже холоднее. Правда, я живу в той же скучной комнате, передо мною лежат те же Дункеры, Шлоссеры, Куно Фишеры, Бокль,



Летописи и проч., и проч., но эти Дункеры, Шлоссеры, Фишеры, Бокль, Летописи говорят мне сами то, что я прежде должен был искать не в них, а в жизни. Они мне говорят: «трудись, трудись – плод приносится трудом, сколько есть в жизни пустых, незанятых рук, но это все шарлатаны; пустошь, тунеядцы, а ты хочешь быть человеком. Человек должен бороться, если он полюбит борьбу, то всякий успех в ней будет для него наслаждением и только тогда она ему не надоест. Смотри: все умницы, которым не надоела борьба, вышли победителями, которые же поддались глупому року - смялись, увянули и, наконец, сложа руки, опустились Бог знает куда с сознанием, что все напрасно, а это сознание их – передовых людей – погубило других – не передовых людей». Далее: «если человек и эгоист, - то ты делай, по крайней мере, все это из эгоизма. Процесс делания будет зависеть от твоих личных взглядов, убеждений, побуждений, до которых обществу нет дела, если ты их не выставляешь наружу; ему подавай дело, результат, а не идею о труде, которая прилична фантазерам и общественным шутам». Но, наконец, ты думаешь: откуда же он это выписал, отчего не выставил здесь названия книги и страницу. Я потому этого не сделал, что этого и нет ни в одной книге; но о нем говорят книги ... Ты спрашиваешь: к чему он это говорит? долго и долго объяснять, да еще и рано объяснять – пусть развивается до конца, если только этому концу суждено появиться, а ты, если понял что-нибудь, напиши мне, я объясню. Жизнь наша состоит из столкновений, и потому внешние толчки играют в ней важную роль; и я получил толчок из вне и именно от женщины, притом родственницы (подробности узнаешь из моих писем, которые я вышлю вместе с твоим дневником, которого я потому еще не высылаю, что кое-чего не окончил в своих письмах, но скоро, скоро вышлю) - следовательно тут дело идет не в том, что ты можешь думать по прочтении слова <u>«женщина»</u>. Женщина человек, и потому толчок ее также человеческий, а не женский, по крайней мере, в том случае, когда идет дело не о кулачном толчке, а теперь заключу это мистическое письмо тем, чем и она заключила свои беседы со мною, говоря мне на прощанье:

Еще работы в жизни много, Работы честной и святой: Еще тернистая дорога Не залегла перед тобой ...

# P.S.

Ты, вероятно, получил то письмо, в котором я пишу о благополучном исходе операции Рудыковского. Деньги, если ты не получишь, должны возвратиться обратно в Киев, потому что Рудыковский надписал на конверте свою квартиру, но ты прежде справься в почтамте — это самое лучшее средство. Не был ли у тебя Никитин? — он проезжал через Петербург, и я просил его зайти к тебе. Кланяйся Смородинову, Свету, Белецкому (через кого-нибудь, если сам не хочешь), Проневичу и др.

На счет стихотворений, я согласен, но ты напиши мне, какие именно, и при том, чтобы моя фамилия не выставлялась под ними в журнале, а пусть поставят какие-нибудь буквы. Вообще напиши мне поподробнее в следующем письме, и тогда я напишу тебе как бы формальное письмо — всего 10 дней разницы, потому что я получаю письма твои на 5-й день. Просьбу твою насчет погоды исполню. Сегодня ночью у нас шел дождь, а сегодня отличная погода и даже какая-то весенняя свежесть, и на душе так легко, легко — вот главная причина, почему и древнему греку было так легко, легко. Отвечай же — пусть будет еще легче ...

Может быть странный, но всегда сочувствующий тебе человек.

Третьего дня я видел твоего брата и Гирса – они собирались писать.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 368, л. 1–3 об. Автограф.



От сердца радуюсь и говорю: слава Богу, что ты наконец получил толчок, который давно надо было тебе получить. Только тогда мы видим, когда солнце светит, и чем удобнее положение предметов, на которые падают лучи, тем более истинными и привлекательными они нам кажутся; а в сущности они те же, только солнце осветило их с другой стороны ... Разве если б тебя спросили: труд или шарлатанство, честная, хоть порою и безвестная работа, или всесветнопризнаваемая леность и праздность, разве и прежде бы колебался ты в выборе? Но тогда, говоря <u>да</u>, ты бы остался безустным душою в этом <u>да</u>, теперь же оно для (тебя) и дорого и полно близкого, своего собственного значения. А я тебе от души повторяю: слава Богу, потому что тебе пора было дать дохнуть чистым, свободным воздухом, ты захлебывался пустотою и бессодержательностью жизни, а ты не был достоин такой участи.

Пусть казнят преступника, оно хоть и тяжко смотреть, но что ж делать; но больно видеть в темнице неповинную голову. Много разного рода мыслей нагнало мне в голову твое письмо, если Бог приведет свидеться, объясню я их тебе, на бумаге не в моих силах. Я надеюсь на скорое свидание, будущей весной или осенью, смотря по тому, когда будет выпуск, после или до лагерей. Я почти решился не идти в ІІІ специальный, много труда, если не по объему, то по смыслу его, а результаты несоответственно скудны.

Вчера был в опере «Жизнь за царя», хорошо, но не слышно ни одного слова из пения, что, по моему мнению, очень ослабляет впечатление этой оперы. Насчет стихов, если только это тебя хоть сколько-нибудь затрудняет, не беспокойся, я обойдусь, имени твоего, разумеется, не было бы, а какие — один черт, были бы деньги ...

Ты признал силу внешнего толука, испытал его на себе; я давно ее признаю, но боюсь; что иногда лекарство, то в других случаях яд. С моим характером толуок может слишком далеко повести меня. Еще раз дай Бог, чтобы просветил глаза души твоей и пропускали больше свету; при Его помощи только ты и можешь найти много в ней, что оставалось доныне в тени. И еще раз прошу тебя: будем до последней степени откровенны, иначе нельзя нам и переписываться.

Отдай приписку брату, когда его увидишь, и скажи, чтобы он передал ее непременно Щербинам; он к ним ходит в отпуск, надо их поблагодарить за это, а писать отдельно — невыгодно.

Прощай, мой дорогой, остаюсь любящий тебя душою.  $\underline{C}$  большим нетерпением жду ответа.

Пожалуйста, заставь брата передать Щербинам приписку, мне будет досадно, если она не дойдет.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49374, л. 56–57 об. Автограф, конверт отсутствует.

## Nº 4

2 октября 63 г.

Сегодня получил — сегодня и отвечаю, впрочем, за тобою еще одно письмо, которое я жду на днях, потому что ты мое, вероятно, на днях только получил. Два раза я прочел твое письмо и долго передумывал о том, что в нем написано: меня удивили те противоречия, какие я заметил в твоих прежних (в Киеве) словах сравнительно с настоящими. Например, хоть бы и твое желание выйти в будущем году из корпуса не соответствует с твоим прежним желанием — добиваться конца военного образования.

Но, конечно, всему есть причины, вероятно и этому есть причина ... Настоящее твое письмо переполнено самым порывистым разубеждением, но что человеческие восклицания, выброшенные из сжатой горем груди? Их можно сравнить с медью звучащею, с кимвалом звенящим. Без отклика и даже без эха замирает это восклицание в той же груди, подавленное двойным горем – и прежним и бесчувственным, холодным молчанием пустой толпы, окружающей среды. Таков человеческий удел:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем, Мы в жизнь вошли с неробкою душой, С желаньем истины, добра желаньем, Любовью, с поэтической мечтой; И с жизнью рано мы в борьбу вступили И юных сил мы в битве не щадили.



Но мы вокруг не встретили участья, И лучшие надежды и мечты, Как листья средь осеннего ненастья, Попадали и сухи, и желты ... (Огарев).

Неопределенность цели (ты понимаешь, какой), противоречия в жизни – вот что губит силы на первых порах их развития. Пустошь кругом, пустошь в себе и сознание, что нет средств помочь этой пустоте, пугают всякого, кто хоть сколько-нибудь серьезно смотрит на жизнь. Положение безвыходное; никакое философское учение не разъяснило жизненной загадки и не в состоянии поддержать на жизненном пути, если только закрались эти мысли в голову, а они свойственны каждому мыслящему человеку. Таков человеческий удел ...

Одно убеждение меня поддерживает - сознание, что науки как результат человеческой мысли должны иметь целесообразность. Не может быть, чтобы они удовлетворяли только тем же мелочным отношениям, как и прочие потребности человека. Самый дух их (наук), их прогресс свидетельствуют о великости человеческого духа, как всякая искусная машина о том, кто ее сделал, или лучше выдумал. Эту мысль я разовью когда-нибудь тебе подробнее, а теперь пока она для меня служит основою для изучения человеческого духа, насколько он проявляется в отдельной личности и в целом том или другом обществе, в то или другое время. Это любопытный предмет, к сожалению, мало объясненный. У меня уже составился и план труда над этим вопросом, но пока задуманное сочинение отвлекает от него. Животное не имеет науки, следовательно, если мы будем ограничивать свои потребности только животными удовлетворениями - то это будет явное противоречие, потому что всякий из нас знает, что у нас существуют науки. Очень просто.

У нас теперь очень и очень холодная погода; это хотя и не совсем приятно, но зато здоровее; у вас тоже холодно, но в добавок и сыро; оттого наши холодные люди положительно холодны, а от



ваших несет мертвечиной, которую искусно поддерживают на воздухе. Вот тебе и запутал, а ведь ... ну да ты и сам распутаешь. Целую тебя взаимно и надеюсь, что ответишь с первою же почтою.

Ты сам знаешь, кто я такой.

Петрункевичи в Петербургском университете – кланяйся им, если увидишь. Напомни Смородинову, чтобы он отнес то письмо моему племяннику, которое я ему дал в Киеве. Я хотел бы, чтобы ты отнес ему мой портрет сам. Я вышлю тебе записочку. Она тебя не обяжет посещениями. Передай маленькое письмо Проневичу – только сам.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 369, л. 1–2 об. Автограф.

### Nº 8

9 октября (1863)\*

И я по твоему примеру сажусь тебе отвечать по получении письма твоего. Не знаю, с теми ли чувствами ты писал, с какими я ... Бессильны слова человеческие к выражению того, что ворочает ими, что беспощадно, бесцеремонно мнет его. Но прежде всего один вопрос: ты прежний Иконников, каким был при нашем расставаньи, ты ли тот же человек, которому я так смело доверялся, перед которым самые святые тайны, тайны, которые я бы задумался, может быть, открыть отиу, матери, были открыты во всей наготе, для многих показавшейся бы, может быть, смешною? Отвечай же мне на этот вопрос также правдиво, также прямо и спокойно, как когда-то я раскрыл перед тобою один из самых дорогих цветков моей души. Я, с своей стороны, готов ко всякому ответу твоему, и даже знак отрицания не сделает больше того, что уже сделано разными окружающими условиями моей жизни нынешней. Отвечай мне немедленно на этот важный для меня вопрос, отвечай, во имя чего просить тебя – я не знаю, но отвечай скорее. Я мучусь, я безумно мучусь, у меня буквально сил нет переносить эту жизнь; я знаю, что всем все равно, блаженствую ли я, или страдаю, но мои мучения для меня важны, они меня мучат.

<sup>\*</sup> Год проставлен по штампу на конверте.



Я знаю, что каждый миг, каждое мгновение на земле не обходятся даром всему живущему и чувствующему, может быть, в настоящую минуту кто-нибудь страдает больше меня, но я не знаю этих страданий, я холоден к ним. Я знаю также, что и к моему горю все холодны, и поверь, что я слишком ценю себя, чтобы ко встречному и поперечному соваться с своим горем под нос. Я погибну, я упаду и разобыюсь в дребезги, но я погибну, проклиная и людей, и судьбу, и все, что погубило меня, но не стану жаловаться, не скажу «пожалейте меня, посмотрите, как я страдаю». Ты удивишься и спросишь, что меня заставляет так безумствовать. Я тебе скажу, что может я глуп, туп, бессмыслен, но какое-то чутье, какое-то особенное чувство редко приводило меня к ошибке при столкновении с кем-нибудь, при оценке и разборе человеческих отношений и чужих отношений ко мне.

Что-то такое видится мне в твоих письмах, что вызывает перед душою понятие охлаждение. Еще раз повторяю тебе, если оно существует, то открыто и прямо скажи мне об этом. Оно меня не рассердит, оно меня не оскорбит, не поразит: оно меня, может быть, только огорчит, но не бойся, это огорчение будет касаться меня только и дальше меня не пойдет. Дай Бог, чтобы все эти подозрения были горячечный бред, раздраженная фантазия. Но это письмо обусловлено теми правилами, которые я положил себе в основание нашей переписки, и потому, если это письмо неосновательно говорит об охлаждении, оно не должно для тебя служить поводом к неприятным впечатлениям

Теперь попроще. Надеюсь весной быть в Киеве, если выпуск будет до лагерей; продолжать ни за миллионы не стану своего бесценного военного образования, хоть ты и удивляешься этому, после о причине этого переворота. Бедняжка Белецкий опасно болен, жизни может лишиться; у него тифозная горячка. Дай Господи, чтобы его здоровье сломало болезнь.

Ради Христа, ради всего святого скорей, скорей высылай мой дневник, он мне до зарезу нужен, ради Христа, скорее, ни минуты не медли.

Твой, может только бывший, друг.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49373, л. 52–55 об. Автограф, конверт со штампами: «Санкт-Петербург 11 октября 1863 г.», «Киев 16 октября 1863 г.».



Вот и два дня прошло, как я получил твое письмо, и ты, конечно, спрашиваешь – почему я сейчас же не ответил тебе? Не думай, чтобы это было равнодушием и холодностию с моей стороны, что ты, однако, скорее всего, можешь подумать; нет, в эти дни я собирался написать тебе больше, чем обыкновенно пишу, я собирался тебе пунктуально ответить на все тонкости твоего пришедшего письма, да, собирался, но мог бы это сделать, когда бы еще подумал столько же, и вот почему решился ответить скорее – не размазывая и не прикрывая внешним лоском.

Ты, конечно, заметил, что мои письма отличаются как будто бы темнотою и холодностию - ты требуешь полнейшей откровенности – я исполняю. Мне досадно становится: почему я мог прожить прошлые два года, как будто не зная о твоем существовании, и потом мог дойти до безграничного пажа в дружбе. Я заметил, что то и другое крайности, за которые ты справедливо наказал меня последними минутами перед твоим отъездом. Твои слова, что ты совершенно равнодушен, вызвали потом меня на размышление, и я подумал: «странный я человек, когда не забочусь о собственной самостоятельности, мне говорят в лицо, что им все равно, а я прошу и еще умоляю, чтобы им не было все равно. Следовательно, с одной стороны, может родиться презрение, с другой, - лишение всякой самостоятельности и даже унижение, с которого трудно будет подняться». И вот я стал работать над собою, я стал, правда, насильно, удерживать себя от тех сильных порывов, которые так тебя беспокоили. Впрочем, успокойся: я остался тот же, только я хочу быть уже готовым; так что, когда ты мне ответишь «нет», чтобы я не старался заставлять тебя говорить «да». А ведь без подготовки

 $<sup>^1</sup>$  Первая цифра замазана чернилами, выставлена по логике с датировкой предыдущего письма.

едва ли я буду настолько решителен - кто же может поручиться за то, что ты не скажешь «нет». Следовательно, я прав, а ты можешь поэтому снисходительнее смотреть на мои письма. Впрочем, тон их зависит всегла от тона твоих. В последнем твоем письме я заметил, как ты доволен, что со мной случился «толчок». Твою радость в этом случае я понял в таком смысле: «Слава Богу – наконец избавился я от лишней обузы, развязался, с тем, что так неожиданно сам навязал себе». Но ты плохо понял смысл моего толчка. Чему он меня научил? Он меня научил остерегаться встреч, которые бывают случайны, неожиданны, а между тем завлекают далеко, далеко. Я ведь не ожидал этой встречи, она случилась, вызвала меня на некоторое время из уединения – потом исчезла ... и вот я подумал, что если и всякая встреча также привлекала бы меня, то я сделался бы непостоянным, увлекающимся человеком, а между тем:

«Работы в жизни много».

И я решил, что на подобные встречи нужно смотреть хладнокровнее, а главное, не увлекаться наперед (не принимай этого на свой счет, а то ты готов опять сказать: «Слава Богу!»). Вот тебе смысл толчка: быть самостоятельнее в жизни, не стеснять своей деятельности личностями, местом и способом занятия и при этом помнить, что эгоизм – двигатель даже самых задушевных стремлений, следовательно, следует извинять больше, чем карать ...

Мне не понравилось твое замечание насчет стихотворений. Я с большим удовольствием готов, но ведь мои требования законны: не выставлять фамилии и указать какие; первое – потому что оно всегда заключается с редактором, второе – потому что хозяин должен знать свое имущество, – ты ведь понимаешь? У нас тоже будет опера. Шульгин читает публичные лекции «О французской революции». Он подал прошение о поступлении в Университет (вот что значит 3000!!). Об этом теперь идет длинный процесс, который опишу тебе, когда окончится. Ты пишешь, что мое письмо нагнало

тебе в голову много мыслей, которыми поделишься при свидании. Нет, лучше теперь – ведь заочно пишется свободнее, чем говорится, смотря глаз в глаз. В последнем случае бывает много фальшивого, поддельного, а иногда и хуже того ... но лучше довольно.

Ты узнаешь по почерку, кто я таков, если трудно узнавать по чувству.

Напиши мне: с кем из наших ты в одном училище, запечатанные ли письма получаешь и в какое время: утром, в полдень или после обеда, наконец – на который день?

Кланяйся: Белецкому, Вольскому, Проневичу, Свету – всем непременно.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 370, л. 1–2 об. Автограф.

## Nº 9

10 ноября

Сегодня только я прочитал дневник твой, сегодня получил его. Ты ждешь пространного письма от меня, и я пишу тебе столько, сколько могу. Прежде всего, о жертве. Не даром я хотел утаить от тебя ее существование, если только признание нагнало на тебя подобные мысли о ней. Вот жертва по моим понятиям: если мне что-нибудь дорого и близко и я от этого отказываюсь только потому, что мой отказ может облегчить чье-нибудь горе, или принести кому-нибудь радость то этот отказ – моя жертва. Я свободен оказаться или нет, следовательно, моя жертва свободна. И если только какие-нибудь внешние посторонние обстоятельства заставляют меня отказаться, то только этот отказ или эта жефтва не свободны, но это, по-моему, и не жертва. Далее, отказываясь от чего-нибудь близкого и дорогого, я себя подвергаю некоторого рода лишению ... впрочем, я чувствую себя не в силах философствовать на эту тему. Скажу только, что, по-моему, нет жертвы не свободной; что тогда жертва имеет цену, когда с нею соединяется собственное какое-нибудь личное лишение. Чем больше это лишение, чем легче и кратковременнее борьба, происходящая при этом, тем выше жертва. Моя жертва не могла быть рабски невольною. Иначе я, верно, не преминул бы



тебе заметить, что вот, дескать, из-за тебя— да, я отказываюсь от своего удовольствия. Это была бы жертва для жертвы, а не для тебя, это был бы долг как будто.

С другой стороны, если бы мне ничего не стоило оставить Кржижановского, брата, Гирса и т. д., то какая бы это была жертва? Я бы, следовательно, мог их оставить не только для тебя, но и для всякого встречного и поперечного. Опять, оставить тебя для них было бы бессовестно и слишком эгоистично. Они бы никогда не оценили ни моего отказа от твоего общества для них, ни тех отношений, которые были между мной и ими, хотя бы они равнялись (чего не было) отношениям между мной и тобой. А ты приписываешь себе такую печальную роль, которой никогда не было для тебя.

Впрочем, я не оправдываюсь, я не нахожу в себе силы выяснить, положить на бумагу мои мысли. Если увидимся при иных обстоятельствах, через промежуток времени, то может многое выскажется.

Насчет нашей переписки: ты ставишь в таком смысле и мое обещание писать и самые мои письма: я пишу другим, следовательно, не писать тебе — это было бы слишком дерзко и бросало бы невыгодную тень на мою личность. Следовательно, писать тебе я должен из эгоистического расчета. Это я только перевел с твоего языка несколько умягченного опасениями поранить на язык простой обыкновенный. Ничего! Хоть сильно, да здорово. Только вот в чем дело: я из личного расчета мог бы тебе, правда, писать, но за то уж что писать — в этом бы я был волен. Так как для гласности мне надо только было бы одного: «Кане(вский) не забыл и — да, он пишет ... ему каждую неделю!». А до содержания моих писем гласности мало дела. Однако, кажется, оное не было только прилично, а было и истинно.

Еще одно тебе скажу: ради Бога, не стесняйся ничем, пиши, что хочешь, и также не заботься о выражениях; пусть выраженное само находит себе форму и сказывается в ней, тогда только оно и будет понятно. Я не принадлежу к числу тех слабонервных натур, которые только тогда боятся молнии, когда она сопровождается громом. Разумеется, с другой стороны, было бы забавно, если бы мы в своих письмах сторонились бы блеснуть друг пред другом колкостями и ироническими вопросами, фразами, намеками и т. д. Но это была бы только другая крайность.

Еще ты говоришь, что я испугался, когда после вопроса о наших отношениях я увидел, что эти отношения могут далеко зайти. Нет, мой милый, я не испугался. Я очень осторожен и осмотрителен, а при этой осмотрительности еще и различаю слово подлость. А потому-то (ты, верно, помнишь) как осторожен, нерешителен я был при ответе тебе, хотя, рассчитав так: «А, была не была, 2 дня не век, потешу его». Я мог рассыпаться в уверениях разного рода о вечной памяти и дружбе и т. д. Я только был неуверен в себе, знал, что человек не может за себя ручаться.

Впрочем, довольно. Может быть, ты не интересуешься уже всем этим, мои письма распечатываешь со снисходительной улыбкой — тогда скажи слово, и переписка наша канет в воду.

Прощай, не сердись. Теперь еще только 3 часа, а уже темно, я очень устал, хоть еще почти ничего не сделал, а впереди не видно отдыха. Прощай. Пиши, — с удовольствием отвечу.

> ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49381, л. 99–101 об. Автограф, конверт отсутствует.

## Nº 6

22 ноября 63

Вот уже четыре, дня как я получил твое письмо и до сих пор, против своей привычки, не ответил тебе. Не припиши этого чему-нибудь ... Мне хотелось непременно теперь выполнить твою просьбу на счет Рудыковского - узнать о его здоровьи. Я спросил о нем у сторожа Университета, который ходит к нему с распоряжениями, и он мне сказал, что Рудыковский будет дежурным через два дня (после получения твоего письма). Так и случилось. Я с ним виделся: он почти здоров, за исключением небольшой слабости. Кланяется тебе и извиняется, что не мог написать к тебе, будучи тогда, как я ему передал от тебя письмо, в затруднительном положении после операции. Затем 21 ноября, т.е. вчера, был праздник, и вот пишу к тебе на четвертый день, не считая дня получения твоего письма, в который обыкновенно уже не успеваешь высылать



ответа, потому что сидишь в Университете до двух часов. Итак, скажу тебе прежде всего на счет твоего письма. Ты совершенно прав в замечаниях на счет моего дневника – я виноват. Здесь роли наши переменились: я принял на себя качество судьи, а ты только зритель, подсудимый – мой бездушный, бумажный дневник, испещренный грубою скорописью, он выразитель бреда мысли, отягченной в минуту досады – досадою, в минуту смеха – насмешкою, в минуту скорби – тоскою. И всему виною – мой идеализм, проникающий всю мою жизнь, обстановку ... Я решился его уничтожить, так как не надеюсь от него добра, напротив, чувствую, что он меня погубит. Трудно мерить все одною меркою совершенства, забывая, что в человеке более недостатков, недостатков простительных ... Я пойду наперекор своему собственному принципу, он был виною и тех давних выходок с тобою, помнишь молчание, печальные взгляды ... Я буду теперь таким, как и следует быть порядочному человеку, и не нарушу, однако, наших отношений. Уже не будет более к тебе таких писем, на которые бы тебе следовало писать оправдательное послание в лист, а если случится, то это будет как бы осколок рубленной колоды, и ты можешь идти спокойно, не боясь, что он тебя прибьет, а царапина не опасна ... Да, предстоит борьба, но кто же теперь не борется ... Я сказал тебе выше, что дневник мой – подсудимый, я – судья. И так я приговариваю: «сжечь его медленным огнем, дабы не было по нем и остатка». Извините, господа зрители, что в XIX веке судья прибегает к инквизиторскому аутодафе – преданию огню. Напиши, как ты думаешь? Жду с нетерпением ответа от своего друга ...

У нас теперь идут оперы: я был на «Двух Фоскари» и «Травиате».

Жду ответа - не замедли.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 371, л. 1–2 об. Автограф.



Я тоже отвечаю тебе несколько дней спустя после твоего письма от 24\*\* ноября, только не потому, что следую строго правилу «око за око, зуб за зуб», а тоже по стеченью обстоятельств, отодвинувших от меня свободное время. Благодарю тебя за сведения о здоровье Рудыковского, если увидишь и не в труд, то поклонись от меня ему, скажи, что я от души радуюсь за его выздоровленье.

Ты говоришь, что ты в чем-то виноват передо мною или перед дневником, не понимаю, право. Если передо мною, то я опять не понимаю, в чем эта вина. Я, с своей стороны, не воображаю считать на тебя никакой вины ...

Вообще мы относительно друг друга находимся в странном, как будто выжидающем, что будет дальше, положении. По крайней мере, мне так кажется. Да, это мучительный для меня вопрос, что будет дальше? Но я, ей Богу, не виноват, что мы остановились, не доделав работы своей, и ждем, не подвинется ли она сама собою к концу. Может быть, ты уже решил в душе, что быть ей не оконченной, пусть так и развалится здание без крыши ...

Ход битвы был таков: ты от всей чистоты тоскующей души привязался ко мне, полюбил меня. Ты был притом нерешителен и затруднялся выразить мне прямо свое расположение, но оно проглядывало в твоих словах и твоем общении со мною, так что я отчасти предчувствовал твое отношение ко мне. Я сам тебе помог высказаться, высказав тебе вечером, во время прогулки, мой взгляд на подобные отношения.  $\dot{H}$ о я говорил, что такое дружба по моему, говорил, что я не смеюсь над нею, что признаю права тоскующей души, и, наконец, говорил, что не могу видеть спокойно страданий чужих. Тебе понравились эти слова, очень близко припали к твоему сердиу, и оно обрадовалось, думая, что нашло другое сердие, которое будет согласно биться с ним, своим трепетом отвечать на его трепет. Оно не попало в самую средину цели, но ударило близко от этой средины. Я жалел твоего больного духа, я хотел бы слиться с ним, но не мог. Другими словами, я жалел твоего уединенного, чуждого всему окружающему положения. Я



<sup>\*</sup> Год проставлен по смыслу ответа на предшествующее письмо Владимира Иконникова от 22 ноября 1863 г.

<sup>\*\*</sup> Ошибка, от 22 ноября.

бы охотно готов был от многого отказаться, чтобы только покоем достигнутой цели удовлетворенного требования души сменить в тебе бесплодную, пустую тоску. Я бы сделал все, чтобы ты только перестал страдать, чтобы затушить этим свое собственное чувство, поднимаемое твоим страданием. Но я не мог страдать твоим страданием. Словом, я видел, что ты вполне достоин сочувствия, что не сочувствовать тебе — преступление для того, кто признает в человеке начало добра, кто чтит это добро и сам хотел бы к нему подойти, но я не сочувствовал тебе. Тут на пути встретилась такая канава, за которую перейти не в силах человек, где его воля исчезает и он становится не кормчим, а кораблем.

Сканси, монсно ли заставить себя сочувствовать, даже зная, что сочувствие в этом случае было бы законное и естественное явление. В руках ли своих держит человек симпатию, которою он может повернуть туда или сюда, в которой, по его произволу, как в зеркале отразится экслаемый предмет. Ты думаешь, что меня ты полюбил за мои (может быть, даже воображаемые) достоинства, за то, что я так же, как ты, не могу остановиться на мелочах и повседневных явлениях жизни, но могу заполнить себя ими? Нет, в тебе родилось ко мне сочувствие по мнению оценки этих достоинств, само собою, бессознательно, а анализ меня только стремился подлить масла в огонь (только, ради Бога, не вздумай усматривать за этими строками чего-нибудь особенного, неблаговидного, вроде хвастливости, нашей забывчивости, которая из-за них, как из-за щита, выглядывает на свет Божий, чтобы быть побезопасней. Я не в таком положении, чтобы дойти до этого, я никогда не дойду до этого). Жаль, что симпатиею не ворочает человек, как глазами: куда хочешь, туда и смотрим.  $\hat{O}$ , я бы во все глаза посмотрел на тебя, и много огорчений миновали бы тебя. Я не могу лгать, я очень откровенен с тобой. Я не забыл всех подробностей конца июля 1863 года. События этого времени и следующего, словом, короткий эпизод из наших отношений, не скользнут по мне, как тень, бесследно. Я и теперь еще не привел в порядок всего. Я, было, понадеялся на разлуку, но пока и она не помогла.

Прощай. Письмо бессвязно, как и глас мысли.

Om Be чай — c удовольствием u, может, c чем иным большим, прочту.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49384, л. 107–109 об. Автограф, конверт отсутствует.



Как ты не понял, в чем я виноват и в чем ты прав. Я написал тебе ясно, что твое возражение на мой дневник вполне справедливо и что мой дневник просто парадокс. Самое лучшее средство, которое я придумал для его употребления, — это сжечь его.

Я сам его знаю хорошо, и потому он для меня лишний, для тебя он через некоторое время станет смешным, и это будет с твоей стороны также справедливо, как с моей желание предать его огню, только эта стихия вполне может его уничтожить и никому не выдаст его тайны, потому, что и сама уничтожается вместе с ним. Мое чувство дорого для меня, и я не хотел бы, чтобы когда-нибудь тот, кому он каким-либо образом достанется, — разбирал его по-своему. Чего доброго, в руках такого человека он станет предметом серьезного анализа и образцом смешного идеализма. Зачем же это ...?

Каких человек иногда не делает глупостей, то от забывчивости, то от увлечения, и разве следует сейчас казнить его за все его проступки? Вот честь – заставить его сознать эти промахи. Благодарю тебя и за то, что ты натолкнул меня на это сознание, пойду дальше - может быть, чего-нибудь добьюсь. Я на днях встретил одного незнакомого человека в Университете и спросил о нем у знакомого студента, знавшего его: скажите, пожалуйста, что это за господин, студент ли он, или вольнослушатель, он мне ответил: еще стучится, стучится (т.е. жаждет поступить в Университет). Да ведь мы все куда-нибудь стучимся, только бывают разные следствия: одним отворит швейцар и скажет: милости просим, другим тот же швейцар скажет: еще не готовы-с, третьим он диктаторски отвечает: прийдите в другой раз, четвертым, наконец, он прямо крикнет: да чего Вам ходить напрасно, мой барин вечно занят, а хотите видеть его, то отправьтесь туда-то и туда, где он служит. И я уверен, что этот последний случай

<sup>\*</sup>Месяц и год проставлены автором позже.

выгоднее других относительно справедливости и, наоборот, относительно исхода дела. Разгадай – если у тебя есть время, а нет, так я и не в претензии ...

Я недоволен своим характером; нерешительность в некоторых случаях вредит мне, решительность в других подводит часто к смешным результатам; да ведь главное – прежние уроки ни к чему не ведут. Не встреться ты мне тогда случайно, идя со съемки, не услышь я в твоем голосе тогда же чего-то примиряющего с прошедшим, вызывающего на будущее, я к тебе не пришел бы; не задай ты мне известного вопроса 27 июля, – я его не затронул бы. Жаль, что все это так случилось, но видно, чему быть – тому не миновать. Не будь всего этого, ты не волновался бы понапрасну моими письмами, я ... Да что я? Обо мне не заботься, я человек неприхотливый и подчас удовлетворюсь гнилым фолиантом лучше, чем живым человеком, а потому ...

Скучно жить, да нужно, когда живешь, но, пожалуйста, не принимай в каком-нибудь особенном смысле подчеркнутого слова. Оно очень просто и чуждо иносказания. Бывают своенравные скуки: у барышни, которой не удалось быть на вечере, у офицера, которому не удалось потанцевать, с кем хотелось, у школьника, получившего дурной балл, и т. п. Но та скука, о которой я говорю, сложилась временем и исчезнет только со временем. Будем ждать. Ты, как я вижу, не совсем понял мое прошедшее письмо. Я сказал: я виноват в своем дневнике перед тобою (например, хоть относительно жертвы); ты прав в своем ответе. Не желая, чтобы оставалось что-нибудь как свидетельство моей виноватости, сознанной мною, - я просил тебя уничтожить мой дневник ... Не знаю, исполнил ли ты мою искреннюю просьбу и если нет, то что заставило тебя не исполнить ее. Я тебе давно говорил, что буду стараться расстаться с своим идеализмом. Это желание уже созрело тогда, когда я тебе посылал дневник. Я колебался - послать или нет, но я дал обещание тебе послать и потому исполнил, но я хочу также исполнить и обещание, данное самому себе, и вот прошу тебя уничтожить его вместе  $\underline{c}$  летними листками, тоже идеальными ...

Я нисколько не в претензии на тебя за такой исход дела, какой оказывается в твоем последнем письме. Когда в древнем Риме императоры получали триумф, то во время шествия этого великолепного зрелища – раб должен был постоянно говорить императору: «memento te hominem esse» (помни, что ты человек). Да и ты человек, а человеку свойственно ошибаться, обманываться и т.п., а потому и я тебя вполне оправдываю; только я виноват перед самим собою, когда не помнил слов великого учителя: «да кто возможет положити душу свою за други своя». Не стану пускаться в дальнейшие объяснения, потому что пора окончить уже предлинное, прескучное бумагомарание. Я тебе обещал в прошлом письме, что мои письма получат другой характер, но ты меня вызвал на объяснения, и я исполнил только долг ...

Я предчувствовал, что то, о чем ты писал, должно будет случиться, и потому приучал себя к мысли об этом. Ведь переживают люди и худшее. Только жаль, что так случилось. Нужно было раньше махнуть рукой.

Сожги же, сожги ...

Пиши поскорей, если ты это считаешь возможным с твоей стороны, – я всегда отвечу. Вот уже другой такой случай со мною – буду стоять твердо, авось наскочу третий, тогда я его сам оттолкну ... Ответь, пожалуйста.

С Рудыковским я буду видеться скоро и передам ему от тебя поклон ... Кланяйся Смородинову, Проневичу, Свету, Вольскому ...

!!? Если не ответишь – пришлю марку.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 372, л. 1–3 об. Автограф.



Я две недели уже не был в Университете, потому что не ожидал писем, а у нас давно уже окончились лекции и не скоро еще начнутся. Сегодня пришло твое письмо, сегодня я и получил. У меня не достало духу прочитать его в Университете; я пришел домой и два раза прочел его, что называется, от доски до доски. Наконец-то разрешилось то, что я подозревал уже давно. Какие чувства руководили твоим пером – я не знаю, но мое пишет с усилием. Между мыслию и передачею ее – большая разница; в совокупности это какое-то колебание между чемто разрешившимся и странною апатией: ждешь чего-то, но оно уже свершилось, надеешься на что-то, но оно уже перед глазами, и обманываешь ложным чувством более точный разум. Что это за колебание, как его направить на прямую дорогу и куда? Все это неразрешимые вопросы. В сложности - чепуха, в отдельности – огромное дело.

Я помню, что почти каждое письмо мое касалось истории наших отношений, а поэтому теперь избегаю даже намека на нее, потому что это значило бы переливать из пустого в порожнее, без всякой цели повторять старое тому, кто сам также хорошо знает это дело ...

Я был когда-то склонен к мистификации, к идеализации, и следы этого остались в моем характере и до сих пор. Я давно убедился, что жизнь – мишура, что люди – обманчивый кристалл, но эта черта идеализации так сроднилась с основными чертами моего характера, что уничтожить ее нельзя без повреждения остальных основ его, таких основ, с которыми и никто не хотел бы расстаться, если бы только имел их. Беда в том, что я каждого человека, с которым сближаюсь, прежде всего идеализирую и в силу этого мерила оцениваю его по отношению к себе. Вследствие такого взгляда на близкого человека – я ему сочувствую, разделяю его счастливые и неприятные минуты с ним, но, в

то же время, вследствие известных тебе опытов из жизни – я ему не вполне доверяю. Ты сам знаешь, что нам редко приходится хорошо сближаться с посторонними лицами, но если при этих сближениях будет два промаха, кто решится натолкнуться на третий? После сближения, когда приходится расходиться, – приходится и жертвовать прежними личными отношениями, делать участником их другого человека и с тем же назначением и т. д. Это не по мне; быть может, этому виною опять та же идеализация, но повторяю – это не по мне. Итак, разве я не прав, сказавши, что я оттолкну третий случай?

Ты сам знаешь результаты моей идеализации, они у тебя в руках: дневник, относящийся лично к тебе, письма, относящиеся тоже лично к тебе. Происхождением своим они обязаны тебе, существование их соединено с тобою. Они не плод поэтического вымысла и не плод отвлеченной мысли. Они плод живых отношений живых людей, и ничья посторонняя рука не должна касаться и разбирать их смысл, ставить вопросительные и удивительные знаки.

А ведь все может случиться: клочки бумаги, исписанные моею рукою, могут попасть, по разным причинам, в другие руки, и ловкому писцу послужить вставкою в неприхотливую повесть, и тогда я уже, улыбаясь, должен буду читать, а может быть только слушать, «дела давно минувших дней».

А ведь это оскорбление человеческих прав, человеческих отношений! Думай как хочешь о моем настоянии, но я считаю себя в праве повторить прежнюю просьбу – сжечь эти «вещественные знаки невещественных отношений» (слова из «Обыкновенной истории» Гончарова). Поворот назад в нашем деле не возможен, а, следовательно, эти знаки для тебя лишни, да и зачем тебе сохранять их, когда они ничего не прибавят в тесной рамке твоей жизни. Я же буду постоянно думать о том – не попались ли эти клочки какому-нибудь пройдохе мира сего. Да и сам ты, крестя русскую землю



вдоль и поперек, на какой-нибудь станции за чаем отдашь их встречному приятелю, как ненужный хлам офицерского чемодана. Вспомни лермонтовского Максима Максимовича и дневник Печорина, доставшийся (как будто) Лермонтову! А разве Максим Максимович — не добрейшая душа?

Да и сам ты поэтическая натура и, судя по первым опытам, можешь подвизаться на литературном поприще любого журнала. Конечно, я не могу запретить тебе воспользоваться самому этим делом, но и ты, как безучастный теперь свидетель, можешь только изуродовать голую истину. Не знаю, какие основания ты можешь представить в пользу своего желания (как я вижу) – сохранить эти бессмысленные теперь клочки ...

Быть может, когда-нибудь встретимся, хоть на большой дороге, тогда потолкуем больше об этом, быть может, пожалеем о прошлом, быть может, посмеемся над ним, быть может, проклянем его ... Человек на все способен. Ты помнишь, я когда-то избегал сухой математики и с удовольствием читал сухого Гегеля, теперь же согласен сделать наоборот. Так развивается мысль, но не чувства (лучше сердце в общем смысле), и вот почему едва ли я изменюсь в последнем!

Едва дописал. Отвечай же! Под окном проиграла шарманка и заставила задуматься. Уже половина 8-го часа вечера.

Кланяются тебе Яснопольский и Яцимирский. Передавай поклон от меня: Смородинову, Свету, Проневичу, Вольскому – непременно.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 373, л. 1–3 об. Автограф.

## *N*<sup>2</sup> 11

8 января 1864 г.

Я уже отвечал тебе на твое письмо 28 декабря, но боюсь, чтобы оно не пропало, так как в Почтамт идти не мог сам, а бросил его в ящик. Пропажа письма, чего доброго, заставила бы тебя подумать, что я избегаю переписки, а я, признаюсь,



очень трудно перенес бы такую мысль твою о мне. Хотя от мысли дело бы не изменилось, осталось таким, каким есть, но все же мне бы не хотелось, чтобы простая случайность заставила тебя еще раз горько улыбнуться над людьми.

Я посылаю тебе в этом письме мою карточку, извини, что поздно, очень поздно исполняю свое старое обещание, но что ж делать против обстоятельств? Я здесь гораздо больше похож, чем на том портрете, где мы вместе снимались. Если случайно увидишь Гирса, скажи ему, что я собираюсь и ему выслать портрет, уже готов. Весной мы, может быть, увидимся, Если только я выйду, то я во чтобы то ни стало поеду на Кавказ через Киев, как я уже не раз писал. Я бы хотел увидеться с тобою. Откровенный разговор всегда имеет значение и смысл для человека. Иначе это разговор гостинноофициальный. И какие бы отношения между нами не были, я не стану иначе говорить с тобою, как прямо, без ребяческой уклончивости, без уловок и уверток. Может быть, эта откровенность и была причиною многих огорчений для тебя: то, что я высказывал тебе только в силу этой откровенности, в уверенности, что эта откровенность будет понята. Ты не только понял, но и принял их. Я уже говорил это в прошлом письме и теперь говорю, что понимаю только откровенный и прямой разговор да общение человеческое, несмотря ни на что, если только, разумеется, говорящие люди друг друга понимают.

Ты настоятельно требуешь уничтожения огнем дневника твоего и записок. Дневник еще пожалуй, но и то нет, я не решусь этого сделать. Чего ты боишься? Ты думаешь, что этот письменный документ может открыть людям то, что должно только храниться в нашей памяти, недоступно для света и воздуха? Не думай, что я не только могу сам когда-нибудь с насмешкой взглянуть на эти памятники минувшего, но и обречь их на жертву презрения других. Впереди меня лежит темная будущность, и, может быть, когда-нибудь, я с глубоким отрадным вздохом, в черные минуты жизни, загляну в это прошлое. Зачем уничтожать его?

Извини, я тороплюсь, чтобы успеть кончить. Сегодня уже два письма написал на Кавказ. Отвечай мне, пожалуйста, скорее. Я также не буду молчать на твой голос. Остаюсь такой, какой был — неизменным.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49372, л. 50–51 об. Автограф, конверт отсутствует.



 $\mathcal A$  в решительном затруднении, что тебе теперь ответить на письмо твое от 3-го января. Я думал, что предпоследним письмом я не вновь решил, но только пояснил прежние мои мысли насчет наших отношений. Не знаю, не знаю, что писать, что говорить ... Пусть будет, как есть, я бессилен ломать голову над этим мучительным вопросом. Одно только слово к тебе, одна просъба, не огорчайся, не думай по этому примеру, что ты ошибся в людях. Правда, ты ошибся, но не в людях, не во мне, а в смысле слов моих. Это случайная ошибка, а не обман, не измена. По этому простому случайному явлению ты судишь о людях. Ты думаешь, что разочаровался, ты не разочаровался, а просто ошибся. Еще раз говорю тебе: не оскорбляйся и не возмущайся этими словами. Что, если бы кто-нибудь стал сердиться на то, что солнце светит, что мороз знобит? Что делать против неизбежного, неуклонного закона необходимости! Не прими и этих последних слов за торопливые и поспешные утверждения, вызванные желанием поскорее отделаться от докучных мыслей и от тебя. Я уже раз говорил тебе, что такая система не по мне. Я так думаю и искренно высказываю тебе эти мысли. Полно, на эту тему голоса нет больше петь.

Относительно наших отношений – я бы и говорить не стал, если бы ты не спросил. Я не изменял их (с своей стороны) до сих пор и смотрю на них, как прежде. Они нарушились, колыхнулись только от того, что ты узнал мой взгляд. Потому у меня и мысли еще не было в голове о том, что кто-нибудь из нас может стать для другого лишним. Может быть, тебе очень тяжело после всего этого растравлять старые или, лучше сказать, недавние раны вспоминанием обо мне. И если ты хочешь забыть меня, я даю тебе честное, благородное слово, я просто тебе обещаю, что это меня не оскорбит. Но я не верю, чтобы ты захотел прекратить переписку. Я, с своей стороны, с премснею готовностью и удовольствием готов продолжать ее. Если ты хочешь отдохнуть от этих отношений, забудь о них. Пиши мне о своих надеждах и предположениях, о своей будущности. Я с участием (опять таки, как и прежде, истинным) буду слушать тебя и тебе буду писать о себе, если ты станешь слушать.

 $<sup>^{\</sup>star}$  Год проставлен по смыслу и в соотношении с предыдущим письмом.

Это не будет только приличная переписка, где есть участие и истина, там нет лжи и натянутости.

Дневник сегодня или завтра, по настоятельности твоей, сожгу. Но записок — никогда. Забудь, что они есть, они тоже не попадут в чужую душу. А твое предположение насчет употребления их — одно скажу — ты мало, видно, меня знаешь и не доверяешь мне. Максим Максимыч добрый человек — и только, может быть, и М.М. не швырнул бы записок Печорина, зная, что в них и понимая их.

В Киеве непременно буду. Но не знаю этою или тою весною. Отец и мать хотят, чтобы я шел в III специальный (класс). Я всеми силами не хочу. Не знаю, что будет, пока идет переписка. Проневичу и Вольскому передал поклон; Смородинова видел только раз с тех пор, как в Питере, 4-е месяца назад, Света тоже. Яцимирского и Яснопольского благодари и кланяйся, если не трудно. Получил ли портрет, посланный в письме 11 января.

Пиши же скорее.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49383, л. 104–106 об. Автограф, конверт отсутствует.

#### Nº 9

Январь 64 года

Вот уже три дня, как я получил твое письмо и все не мог приняться за перо, чтобы ответить тебе, потому что не знал, с чего начать, о чем говорить, не потому, чтобы не о чем было сказать; нет — потому, что избыток волнений подавляет самое течение мысли, а писать лишь для того, чтобы сбыть с рук, — я не способен. Раза четыре я читал твое письмо, смотрел на портрет и все не понимал и, кажется, никогда не пойму твоего взгляда на вещи.

Я вполне понимаю ту борьбу, которая происходит в тебе, и твое колебание между да и нет, ту разницу между смыслом предпоследнего письма и последнего, которую я мог легко подметить. В 1-м ты положительно считаешь себя виноватым и без обиняков выставляешь свою вину; во втором ты опять тот же — неизменный ... Конечно, последнее я толковал себе в ограниченном смысле и



не старался себе задавать и решать каких-нибудь идеальных вопросов, потому что считал это уже несвоевременным. Не знаю, как ты посмотрел на мое предыдущее письмо и как разрешил мои вопросы. Я их должен был поставить и поставил; твое дело – ответить. Я приму всякие условия, потому что первое условие в этом деле - свобода. С моей стороны была добрая воля. Я знаю, что иногда тоном письма и намеками можно раздражить человека или заставить расчувствоваться, и потому я пишу всегда обдуманно. Хорошо еще теперь, когда мы можем перекинуться двумя-тремя словами в две недели, но ты выйдешь, уедешь на Кавказ и тогда ... пять, шесть недель! а там года сотрут и последнюю связь, пока еще оставшуюся, - нить перервется, и ты станешь Печориным в настоящем вкусе, а я чувствую, что скорее сделаюсь Максимом Максимовичем, конечно, тоже нашего времени. Быть может, случай сведет в каком-нибудь захолустье на проезжей дороге – мне захочется сказать два-три слова от души, но твой экипаж уже подан, ямщик подергивает, ты уселся ... подожди, я хочу тебя спросить на счет ... но ты уже поворачиваешь за угол, и только слышно: «Некогда – пережилось, когда-нибудь ...». Мне останется только сказать: «Вот люди!». А ты, конечно, в ближайшем трактире будешь преспокойно пить чай и думать - о чем? - конечно, о многом. Ну да я, чувствую, замечтался, а это также вредно, как всякий излишек чего-нибудь.

Признаться, я давно не был в корпусе и вот было собрался, да глаз разболелся и потому просидел дома. Постараюсь скоро быть и передам Гирсу твое поручение. Захарченко уже читает лекции в Университете. Правда ли, что специальные классы будут снова в Киеве? У нас это говорят положительно. Читаешь ли ты что-нибудь? Как проводишь время? Отчего не хочешь в ІІІ специальный? Рано или поздно у вас будет выпуск?

Досадно, перо испорчено, чинить не умею, 11 часов вечера – должен прекратить писать. Отвечай,

отвечай, отвечай! Сегодня у нас открылись контракты. Кланяйся: Смородинову, Свету, Проневичу. Если увидишь Скальского, кланяйся ему и скажи, что Горчинский просит его написать. Жду ответа.

За портрет благодарю. Да, похож, как будто ты вырос, поправился, потому что и на прежнем ты тогла был похож.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 373, л. 1–2 об. Автограф.

#### Nº 10

10 февраля 1864 г.

Да, я не отвечал на твое последнее письмо, потому что не имел сил, необходимых для того, чтобы вышло письмо, а не бумагомарание, а писать так себе ... и пошло и глупо ..., это будет только набор слов, подведенных под правила средневековой логики ... Будут фразы, имеющие все части речи и, пожалуй, смысл, но он не будет выражением личности пишущего; напротив, - он будет пригоден для всякой личности, только стоит подставить имена. В таком смысле я никогда не писал и если бы заметил, что иначе писать не могу, то бросил бы переписку и никогда не принялся бы за нее. Следовательно, я прав ... Но довольно об этой защите, она не интересна, а между тем заняла целую страницу. Я уже давно-давно тебе писал, что будем лучше толковать о чем-нибудь другом, чем переливать из пустого в порожнее. Нужно было это привесть в исполнение, а мы этого не сделали, и вот мне пришлось наслушаться много неприятного. В особенности на меня навеяло грустные мысли твое предпоследнее письмо, на которое я и не отвечал. Главная мысль твоя – что тебя мучит этот вопрос, что тебе мучительно отвечать - насильно прозвучала в моей голове ... Зачем все это? Разве я хотел, чтобы это было так? И вот я опять обвинял себя, но тебе, вероятно, известно, что значит обвинять себя самого и еще признавать эту вину! Но и об этом довольно, вот уже и вторая целая страничка, а ведь еще нужно другие две наполнить чем-нибудь.



Дадим слово не толковать более о том, что я говорил выше. Подумаешь, полгода бестолковой переписки в китайском стиле!!

Начну о другом. Помни, и ты начинай о другом! Мой совет тебе – оканчивать 3-й специальный класс на том основании, что лучше прожить лишний год в Петербурге, чем сидеть где-нибудь в глуши, и если бы ты меньше идеализировал свою ничтожность, - вышло бы лучше. На меня находят такие же мысли, но я, сознавая их вред для моего организма, ищу такой предмет, на котором бы глаза разбежались или сосредоточились; правда, трудно бывает преодолеть течение набежавшей тучи, но лучше пусть будет дождь и потом светлое небо, чем постоянно грустный свет. Что было бы, если бы и в природе было вечно безоблачное небо? Я не думаю, чтобы у вас не было чего почитать или уже окончательно не было бы для этого времени. «Ищите – и обрящете, толцыте и отверзется вам». Советую тебе прочесть следующие вновь вышедшие сочинения: «Древность человеческого рода» Шлейдена, «О происхождении видов» Дарвина, «Человек и его место в природе» Фогта, «Общее землеведение» и «Историю землеведения» Риттера. Советовал бы «Всемирную историю» Шлоссера, а на нем можно отдохнуть от мирской грязи, потому что дурака он назовет просто дураком, не стесняясь выражением, хотя бы он был в короне. Прочти и Гервинуса (История 19 века) - истинного продолжателя Шлоссера, и там увидишь, что люди на высших ступенях и теперь также подлы, как и во времена Ксеркса, только в белых перчатках, чтобы не запачкать руки, и только в народе найдешь еще силы для лучшего будущего ...

Прочти Зибеля: История Французской революции, ты скажешь – все это много! Не думай – станет на год, зато сколько ты получишь сил для жизни, от которой не можешь отказаться. Наш древний летописец глубоко сознавал пользу книжную, и я решаюсь привесть для тебя его слова, потому что ты, может быть, никогда их не встретишь, так как

они почти не печатаются в обыкновенных сочинениях; он говорит: «Велика бо бывает польза от ученья книжного; книгами бо кажеми и учими есмы ... мудрость бо обретаем и въздержание от словес книжных; се бо суть реки, напаяющие вселенную, се суть исходища мудрости; книгам бо есть неисчетная глудбина, сими бо в печали утешаеми есмы, си суть узда въздержанью» (из Полного собрания русских летописей. Т. 1, стр. 65 и 66). Вникни в смысл и поймешь, что это так.

А окончил ты Бокля? Теперь обращусь к обыденным вопросам жизни, отчасти личным, отчасти общим. Вот и четвертая страничка канула с пера на бумагу.

Из университетских дел сообщу тебе, что у нас теперь идет борьба о принятии Шульгина в Университет. Совет большинством голосов согласен принять его, но наш факультет против принятия, да и студенты тоже (видишь, генерал большой, а нам нужна теперь живая связь, правда научная, с профессорами, которой до сих пор не было и благодаря которой многое идет в Университете так, как не следовало бы идти. Впрочем, то что в скобках – между нами, ведь ты Шульгину с родни ...). Министр уже раз отказал ему, так теперь ему дают доктора за знаменитость (написал учебники, от которых ученикам в голове трещит, когда заучивают фразы, понятия, выводы и мысли без фактов основания истории, и благодаря которым ученики становятся резонерами, пустословами) и хотят насильно ввести в Университете, да еще ссылаются на сочувствие студентов, которых, однако, боятся спросить, чтобы таким образом не подать повода к признанию за младшими (чего в России мы, кажется, никогда не дождемся) права голоса, даже тогда, когда за глазами ссылаются на их согласие. Чем дело окончится - еще неизвестно. Второе сообщу тебе, что мне предложили через  $1^{-1}/_{2}$  года, т.е. по окончании курса, ехать в Москву и в Петербург для занятий русской историей, а потом за границу для усовершенствования в языках, и так я теперь



должен обратить внимание, для подготовки, на сочинения тех ученых, с которыми мне придется столкнуться.

К посту мы ожидает профессора по русской истории – бывшего учителя Ларинской Петербургской гимназии – Добрякова, с которым мне придется теперь особенно заниматься, имея в виду то, что я сказал выше.

Теперь уже оканчиваются у нас контракты, но почти никого на них не было, благодаря политическим обстоятельствам. Какие книги тебе нужно будет — пиши — я укажу. Правда ли, что специальные классы опять будут в Киеве. Я окончил. Жду ответа. Начинай с другого. Ты просил писать больше — вот тебе и 6 страничек. Кланяйся: Смородинову, Вольскому, Свету, Проневичу и всем знакомым. Правда ли, что Никитин был в Петербурге?

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 375, л. 1–3 об. Автограф.

## Nº 11

1 марта 64

С чего начать? Да, ты спрашиваешь, как идут дела Яснопольского и Яцимирского? Первый готовится теперь к экзамену в Университете. Оба они живут вместе. Я часто бываю у них и всегда передаю от тебя поклон, и получаю такой же ответ. Неделю назад с Яцимирским случилось неприятное и смешное происшествие. В одно прекрасное утро, когда Яцимирский, по своему обыкновению, мечтал еще о чае, - является квартальный и просит позволения обыскать его. Перечитал все письма и клочки бумаги и, наконец, просит его ехать с собою к полицмейстеру. Там Яцимирскому объявляют, что он должен остаться под арестом, потому что, хотя у него ничего не найдено, но по телеграфической депеше из Каменца Подольского требуют задержать какого-то Яцимирского. Нечего делать посадили. Телеграфировали туда за приметами, но оказалось, что тот Яцимирский, которого ищут,



седовласый старец, ну и выпустили нашего Яцимирского, хотя и просидел три дня и три ночи у полицмейстера, как Иона во чреве китове. Впрочем, теперь он расхрабрился – хочет протестовать. О Никитине 4 знаю только, что он в Московском университете.

Расскажу второй случай. На днях шел саперный солдат по направлению к крепости и вдруг провалился, потом, выкарабкавшись кое-как, дал знать об этом; пришли – оказалось, что был сделан подкоп в самую крепость и один политический преступник успел уже бежать, но, как говорит писарь, подробно передававший об этом Яцимирскому, во время пребывания его во чреве китове, «Провидение спасло священный град Киев», хотя, верно, и сам не знал сказать, от чего именно. А вот и третий случай. Дня четыре назад я, возвращаясь из Университета, увидел большой съезд «аргусов» с большим количеством синих мундиров у одного из обыденных домов, но, конечно, не знал в чем дело. На другой день узнаю, что там захватили польского агента из Варшавы с бумагами, и что же? Он попросился выйти в другую комнату, с ним сделалось дурно, послали за доктором; этот доктор – профессор, известный в одной статейке, прощелкавшей его, под именем Химерьева, объявил, что с этим господином простой обморок. Но через несколько времени он умер – оказалось, что он принял яд.

На днях был в корпусе вечер – говорят, кутили, но это не занимательно. В тот же день, как я получил от тебя письмо, – я виделся в Университете с Рудыковским и передал то, о чем ты просил. Он мне ответил, что уже писал к тебе недавно. На счет Петра Щербины я не мог ничего узнать пока положительного, потому что с ним самим я не знаком, а у Рудыковского позабыл спросить, а потому об этом до следующего письма. Ты спрашиваешь, кто мне предложил ехать в Москву, Петербург и за границу. Я, кажется, написал тогда, что профессора нашего факультета, но это еще будет после окончания моего курса, т. е. через год. Конечно, все

будет зависеть от обстоятельств, которые сойдутся к тому времени. Что касается Выходцевского, то, по моему мнению, ты должен быть у него. Каким бы он ни казался в твоих глазах, но, во-первых, он следовал известному принципу в своей деятельности, который ты можешь отвергать и даже презирать, если у тебя другая натура, но, во всяком случае, следует уважать его в другом, если, конечно, он честен. С другой стороны, это человек всеми оставленный, непонятно почему, и мне в прошлом году рассказывали, как он горько разубедился в самом простом уважении к нему бывших его воспитанников, когда, было, просил Сементовского собрать их у себя и сам думал случайно явиться туда, и когда пришел, то все, которые там были, стали уходить один за другим, а остальные, узнавши, что он там, уже и не появлялись. Потом еще мне рассказывали, что были и такие, которые перед самыми его глазами переходили на другую сторону улицы и т. п. Как ты думаешь: не страдает ли этот человек нравственно, когда видит, что десятки лиц его презирают, не позволяют ему даже объясниться, а может быть, и сознать перед ними те ошибки, без которых нет ни одного человека; когда он думает, а может быть и слышит, что везде, где только можно, трубят о том, что часто знают с десятых рук, понаслышке ... Право, горько! Если у тебя есть еще человеческое чувство, то пойди к нему по моей просьбе, если она для тебя еще что-нибудь значит. Человеку иногда нужно высказаться, чтобы снять тяжелый камень с души ... Надеюсь, что и ты еще человек ... Когда будешь у него, - передай от меня поклон, да непременно, и если сочтешь возможным – можешь показать и это письмо, чтобы он не думал, что твои слова пустая передача приличной формы. Я на это не способен, а и за свои выражения не боюсь, потому что писал так, как сказал бы и в глаза. Надеюсь, что ты не замедлишь ответом.

## В. Иконников.

Кланяйся: Смородинову, Свету, Вольскому и Проневичу. Напомни Проневичу на счет обещанного им мне портрета.

Скажи, пожалуйста: где теперь Скальский 1-й, и если увидишь – кланяйся ему и попроси его написать к Горчинскому – он меня просил об этом.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 376, л. 1–2 об. Автограф.

#### Nº 12

5 апреля 64

Ты, вероятно, бранишь меня, не получив в официальный срок моего письма. Причина подобного молчания у меня может произойти или по болезни, или от апатии, так обыкновенной в нашем круговороте. На этот раз у меня была первая причина: болел глаз, и я никуда не выходил. Вот через неделю и мы совершенно свободны, даже официально: лекции окончатся, экзаменов у меня нет делай что хочешь. Ты, быть может, спросишь, что я делаю? - Я пишу теперь сочинение, над которым трудился целый год и уже написал около 50 листов, но конца еще не вижу. Летом предполагаю заниматься новою историею вместе с одним студентом, который оказался, по моему взгляду (а человеку свойственно ошибаться), порядочнее других и сошелся со мною в выборе занятий. Я еще никогда не занимался серьезно с кем-нибудь вместе; с ним пробовал несколько раз, казалось странным, неудобным, но нужно превозмочь себя. Мое самоуглубление требует спокойного вникания в то, что я читаю, и потому при быстром совместном чтении должно перебегать скоро от одного абзаца к другому, а такое передвижение мысли для меня непривычно при серьезном чтении. Но зато громкое чтение при другом разовьет голос, правильность которого необходима преподавателю. Итак, что будет, то будет ...

Шульгин уже доктор, хотя факультет и не признал его. Впрочем, факультет действовал не в интересах науки, а по личным нерасположениям к нему, хотя и приобретение Шульгина для Университета



не благое дело, так как один из доцентов истории, окончивший курс в прошлом году, подает большие надежды, притом очень популярен, что важная вещь для студентов, подверженных случайностям в Университете. Личные цели факультета скоро обнаружились снова. Костомаров на днях прислал письмо, что он желает быть профессором русской истории в Киевском университете. Давнишние его враги подняли головы: «Он сепаратист, он будет проповедовать свои идеи, испортит поколение». Так кричат полицианты профессора, для которых начальническое глажение головки лучше честного слова. У других пробудилась зависть, и они говорят: «Костомаров исписался, устарел, не понимаем, как молодое поколение может его читать». О старцы, поседелые на кафедрах, вам досадно сочувствие к человеку, стоящему выше вас! И между ними отличаются мнимые друзья Костомарова, которые находятся с ним в переписке и хвастаются его дружбою. Они-то более и кричат против него ...

Сообщу тебе еще кое-что. Рудыковский вышел в отставку (Андрей Евстафьевич), но еще его нет в Киеве. Ковальского исключили из корпуса и, конечно, за пустяк, но об этом подробно напишет тебе Гирс, который, кажется, потому к тебе не писал, что сидел под арестом. Вот уже целую неделю у нас прескверная погода, да я не мастер описывать погоду и природу. Как же ты покончил с Выходцевским — интересно знать: напиши подробно. Яцимирский и Яснопольский кланяются тебе. Передай мои поклоны: Проневичу, Свету, Вольскому, Смородинову. Вот уже половина 12 ночи. Сильно устал, пора окончить, а серая тетрадь с научными мыслями подождет до завтра. Рудыковский тебе кланяется. Жду ответа.

В. Иконников (подпись-росчерк).

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 377, л. 1–2 об. Автограф.



Чем далее, тем более спадает у тебя гора с плеч, тем легче становится тебе: не правда ли? Знаю я это время, сам испытывал, и буду еще испытывать его. Вся жизнь наша есть постоянный экзамен, более или менее серьезный; более или менее пустой. Много чепухи, много сору, а еще более беспокойства, но что же делать против необходимости? Мы сами создали себе эти экзамены и эти беспокойства: браним их, когда сами экзаменуемся, и потом опять экзаменуем ... право, много чепухи.

У нас лекции покончились, и я уже сижу постоянно дома. Студенты мало-помалу разъезжаются, кружок знакомых становится меньше, поневоле и сам замыкаешься. Яцимирский думал держать полукурсовой экзамен, да что-то раздумал, уехал в отпуск. Яснопольский здесь, держит вступительный экзамен. Мне очень приятно, что ты будешь в Киеве, по крайней мере, в такое время, когда и я не буду стеснен занятиями, чтобы посвятить хоть немного минут тому, которого все таки уважаю. Я думаю, что ты не приедешь же на один день, так, чтобы сказать: да, вот и я был в Киеве, был и только; ведь как заедешь на Кавказ, то от тебя, чего доброго, и слова не услышишь; разные бывают люди, в особенности, когда ты в этом видишь уже конец концов, и больше ничего, а потом вдруг подымешься, оглядишься и скажешь: да ведь это сон, пора взяться за дело, и возьмешься - руки не служат, глаза не видят, все как-то неловко, да нечего делать - нужно привыкать сызнова, а то ведь замрешь, и тогда все пропало, ведь с голоду не умирать, хотя бы как и что ни надоело.

Философия часто расходится с жизнию, потому что мы прежде строим образы, чем увидим их в действительности. И мы сознаем, что это болезнь, да все делаем по-прежнему, потому что нас сделали больными, постоянно давая нам подслащенные приправы, а ведь нужна нормальная пища. Так и выходит одно из другого: каково начало, таков и

результат. Побываешь в Киеве, потолкуем больше, а пока довольно. Из здешней бригады многих перевели на Кавказ, в том числе и Ключевского, а может быть еще и Ставровского 2. О Рудыковском я до сих пор еще положительного ничего не знаю. Ты хотел, кажется, запастись какими-то книгами и спрашивал меня; если думаешь, то напиши мне род книг, число и цену, выше которой ты не думаешь покупать: я тебе означу их. Когда будешь выезжать, то напишешь заблаговременно, когда ты будешь в Киеве, одним словом, подробно.

Но я думаю, что ты еще будешь писать и до того времени. Напишешь мне, когда прекратить переписку, чтобы мое письмо, когда ты уедешь, не попало кому другому – ведь неизвестно, какое содержание будет в нем. Кланяйся: Проневичу, Свету, Вольскому и другим. Напомни, когда будешь уезжать, Проневичу о портрете – он мне обещал.

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 378, л. 1–2 об. Автограф.

#### *N*<sup>2</sup> 13

13 мая (1864)2

Теперь гора совсем свалилась долой с плеч. Вчера был окончен последний жзамен, но это давно ожидаемое окончание трудов далеко не принесло того покоя и удовлетворения душе, на которое я рассчитывал и надеялся. 23 мая будет подписан приказ о нашем производстве, и 23-го же государь будет поздравлять нас с офицерским чином после смотра всех выпускных изо всех военных училищ, откуда только выпускают офицеров, так в Петербурге делаются всегда выпуски. А я еще до сих пор не знаю, что со мною будет. Я записался было на Кавказ в артиллерию или один из кавказских стрелковых батальонов, но в тот день, как записывали нас по полкам, с величайшим удивлением узнал, что на Кавказ нельзя выходить ни в какое войско иначе, как с разрешения наместника Кавказа. Оставалось записаться или в третий специальный, или куда-нибудь в неслыханный и неподозреваемый в своем

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Год проставлен по смыслу контекста предыдущего и последующего писем.



существовании армейский полк, так как в артиллерии нет вовсе выпуска. На первое не позволяло мне решиться мое здоровье, рискнуть остаться здесь на зиму — значит для меня рисковать жизнью. На второе у меня очень мало охоты. Я стал хлопотать о выпуске на Кавказ во что бы то ни стало, и теперь, благодаря добрым людям, пошла на Кавказ депеша за разрешением великого князя. Придет отказ — придется до осени остаться в третьем классе, а там хлопотать о выпуске на Кавказ опять таки.

Очень неприятно томиться этой безызвестностью, не знать, что с тобою будет. Если на днях придет разрешение мне выходить на Кавказ, то, по всей вероятности, никак не позже 10 или 7 июня я буду в Киеве, если, конечно, мне не дадут определенного маршрута и выдадут на руки все прогонные деньги, а не заставят часть их получить где-нибудь на дороге, не по пути к Киеву. Но этого, по всей вероятности, не случится. Еще может меня задержать то обстоятельство, что здесь, как говорят, долго после производства не выдают прогонов.

Во всяком случае, если только судьба судила мне ехать теперь, весною, то я, вероятно, успею тебе написать еще письмо, где и скажу верно и окончательно: удастся ли мне побывать в Киеве, и если да, то к какому времени. Самому мне душевно хотелось бы побывать там, и я употреблю все усилия, чтобы не миновать Киева. Если исполнится это искреннее мое желание, то я буду в Киеве не меньше недели, а если средства и обстоятельства дозволят, то и больше.

Твой ответ на это письмо еще может застать меня в Петербурге, и ты, если будешь отвечать, то не опасайся за то, что твое письмо попало в чужие руки. Ты напрасно думаешь, что если я попаду, заберусь на Кавказ, то позабуду Божий свет и мое прошлое, что ты не услышишь от меня слова. Если судьба решила нам свидеться в этом году, ты увидишь, или лучше я покажу тебе, что я не изменился, что я тот же, только ты иначе понимал меня, в чем я сам был виноват. И хоть не могу корить себя тем, что я лгал тебе, но все-таки слабость души и характера не позволяла мне совершено говорить тебе, что надо было говорить.

Но в письме всего не скажешь, может судьба позволит нам одинаковыми глазами и в одном свете увидеть один предмет и сойтись в суждении нашем о нем.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49380, л. 97–98 об. Автограф, конверт отсутствует.



Спешу тебе ответить. В воскресенье, 24 мая, уезжают кадеты в Петербург на почтовых. Я думал передать тебе через кого-нибудь письмо, так как легкая передача принимается лучше, но потом сообразил, что она иногда не удается, и потому оставил свое намерение. Так я передавал тебе через Никитина письмо, но он на дороге переменил маршрут, и письмо осталось у него; теперь кадеты приедут, вероятно, в Петербург уже в то время, когда ты выедешь, или, быть может, тот, через кого я передал бы тебе письмо, с тобою не виделся бы. Одним словом, я отдаю предпочтение почте. Мне кажется, что ты во что бы то ни стало должен побывать в Киеве. Не забывай того, что ты уезжаешь на Кавказ и что может тебя когда-нибудь занести в эту сторону?

Ни нарочно, ни случайно, вероятно, тебе не придется быть, а, между тем, время идет очень быстро, взгляды меняются, и мы становимся только официальными зрителями давно прошедшего. Конечно, я не настолько эгоист в этом случае, чтобы сказанное относилось именно к себе. Но если ты вспомнишь, что говорилось вообще год назад, то я все таки имею право рассчитывать - увидеть тебя не с одним только желанием выполнить какой-то долг свидания, но и с нравственным сознанием, что прошедшее все таки не так гадко, чтобы стараться позабыть его, в особенности вспомнив: ведь я еду туда, откуда едва ли уже когда-нибудь выберусь, да быть может тогда и выбираться-то уже будет не зачем. Я помню, что я обещал посет ...\*, и надеюсь выполнить свое намерение, но та жизнь, которую тебе придется вести, так капризна, что тебя трудно будет догнать даже на воздушных конях, если только она увлечет тебя в свои неизменные границы.

Я думаю, что у тех лиц, от которых зависит твой маршрут, не настолько каменное сердце, что-

<sup>\*</sup> Так в тексте.

бы не принять во внимание твоей просьбы. Ведь у тебя здесь брат ..., да не забывай того, что иногда писарь делает больше, чем его начальник; правда, он делает не по чувству человечности, но та благодарность, которой он требует, не обязывает тебя ни чем в жизни. Ведь и у нас при выпуске писарь делал многое. Одним словом, ты обращайся от младших к старшим, а не наоборот. Ведь и Киев по дороге, только тебе следует брать подорожную на Остров, а не на Москву, а то как погонишься за двумя зайцами, и обоих упустишь. Уж не пожалей бумажного капитала: ведь это приходится делать раз в жизни, но все таки лучше остаться до осени, чем забираться в какой-нибудь неподозреваемый полк. О Киеве я уже не говорю тебе, потому что ты на это улыбнешься, а, пожалуй, сочтешь и эгоизмом, хотя я искренно желал бы ...

«Быть может, судьба позволит нам одинаковыми глазами и в одном свете увидеть один предмет и сойтись в суждении нашем о нем ...». Передай в последний раз мои поклоны: Свету, Вольскому и Проневичу, потому что больше не будет через кого передавать. Так и скажи им, а, если можно, то и покажи мои слова.

Напомни Проневичу на счет обещанного им мне портрета и, если удастся, – привези с собою. Может быть, и Вольский даст портрет?

ИР НБУВ, ф. 46, ед. хр. 379, л. 1–2 об. Автограф.

#### Nº 14

4 октября (1864 г.)

Уже с неделю я живу во Владикавказе и три месяца на Кавказе, а, между тем, за все это время от тебя нет ни строки, нет даже никакого слуха о тебе ни откуда. Мне остается на долю при всяком воспоминании о тебе теряться в предположениях о причине твоего молчания. Но мне очень-очень грустно так долго не иметь от тебя ни слова. Я верю в тебя — мне нет нужды доказывать тебе этой веры, я еще ни разу не обманывал тебя, и потому твое молчание объясняю себе или



какою-нибудь непредвиденною случайностью, или считаю его с твоей стороны преднамеренным, с какою-нибудь, может и в самом деле, необходимою целью. Но я не хочу думать, чтобы твое безмолвие служило немым сигналом нашего разрыва. Меня пугает эта мысль, и хотя я не плакал, прощаясь с тобою последний раз в Броварах, но я верю в тебя и люблю тебя. Мое предыдущее письмо, если ты только получил его, дало тебе печальное объяснение, по моим понятиям, моего странного поведения относительно тебя. Но приди это сознание года два назад, – многое могло быть иначе. И я даже боюсь, что при настоящих условиях моей жизни едва ли возможна та внутренняя борьба, тот перелом, который я решил сделать в себе. И притом много мешает моя необыкновенная живость характера и мыслей, не позволяющая мне сосредотачиваться и преследовать долго одну идею, следить постоянно за одною целью. Теперь я живу в совершенном одиночестве, целые дни провожу один-одинехонек. И если такая жизнь продолжится долго, то я боюсь, чтобы она не оставила на мне весьма неблагоприятных следов. Какая-то робость и неуместная застенчивость мешают мне заводить знакомства и сходиться. Кроме того, не вращаясь никогда в светских крумсках, я не научился поддерживать ловко пустые разговоры и к стати поддакивать там, где нумсно. Да, самое главное, если кто не умеет играть в карты, тот будет совершенно напрасно являться почти во все здешние кружки. Игра – единственное благородное препровождение времени, принятое здесь, и неиграющий будет в тягость и себе, и хозяевам. Я не играю, и не решаюсь начать играть, а потому не знакомлюсь и симсу дома один, и очень скучаю. Если хочешь знать мое внутреннее стояние, вспомни тот год, когда ты вышел из корпуса, или еще лучше, отыщи те страницы твоего дневника, где ты записывал свои впечатления и мысли того времени. Я вспомнил то, что там говорилось, и теперь мне очень понятны то тоскливое одиночество, та мертвящая скука, которые томили тебя. Теперь они и меня посетили, и даже книга едва-едва заставляет меня минутами забывать об этих страшных гостьях. И часто в такие минуты мысли мои переносятся в Киев к тебе, или Яснопольскому, или даже к кому-нибудь из кадет, наиболее бывших ко мне близкими почему-нибудь. Но на вопрос, зачем я не искал случая выйти в Киев, мне является ответом грустное лицо моей матери, и я не укоряю себя за то, что вышел на Кавказ.



До последнего свидания я не знал хорошо ее как женщину и стремился на Кавказ более для себя, а теперь нахожу, что я очень не лишний здесь и для нее.

Думая о том, не пропадают ли почему-либо мои письма к тебе и не это ли причина твоего молчания, я с этою же почтою спрашиваю о тебе Яснопольского. Но, впрочем, он же получил мои письма, адресованные на твое имя, следовательно, и ты должен был получить. Я писал тебе: 21 и 31 июля, 15 августа и 8 сентября. Пиши же скорее и больше, если думаешь еще писать мне, в моем уединении твои письма будут источником живой радости и отдохновением от душевной истомы.

Твой И. Каневский.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49369, л. 41–43 об. Автограф, конверт отсутствует.

#### Nº 15

3 ноября (1866 г.)<sup>3</sup>

Ты, верно, очень удивишься, получив от меня это письмо, мой бывший добрый друг Иконников.

Прежде всего, я хочу повериться насчет бесцеремонной формы, с которою я к тебе обращаюсь. Я хочу верить и думать, что ты не изменил себе, остался верен себе (в отношении себя же, разумеется), а потому пишу тебе по-старому, не задумываясь долго над выбором формы. Я буду с тобой вполне откровенен относительно той причины, которая заставляет меня обратиться к тебе с письмом.

В этом году летом поехал в Харьков, в университет, мой второй брат Александр, почти без всяких средств и, главное, в совершенно незнакомый, чуждый ему город. Ты знаешь из собственного опыта, с каким полчищем трудностей приходится человеку бороться в таком положении, знаешь, что главная тягость борьбы заключается в отсутствии нравственной поддержки, в холоде и неприветливости людей — и, следовательно, ты догадываешься, о чем я хочу просить тебя.

Ради твоей бывшей привязанности ко мне, ради твоих благородных человеческих инстинктов — окажи, в чем можешь, содействие, поддержку и сочувствие моему брату. Он

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Поскольку письмо касается Харьковского университета, и сказано, что оно написано через три года после расставания, т. е. после 1864 г., датируем его 1866 г.



молодой человек, обыкновенный, не отличающийся ничем, но у него благородное сердце и душа. Я это говорю о нем не как о брате, потому что я люблю моих родных настолько, насколько они люди достойные. Опять же, я понимаю, что брат мой вообще настолько заслуживает твоего внимания, насколько его заслуживает всякий бедный и честный студент Харьковского университета. Но всякая личность, имеющая много равных и подобных вокруг себя, пользуется какими-нибудь преимуществами всегда благодаря какому-нибудь случаю. Если, еще раз повторяю, ты остался верен себе в своих стремлениях и воззрениях, — пусть бывшее наши хорошие отношения будут случаем, который доставил бы моему брату твое сочувствие и, в чем можно, нравственную поддержку. Вот моя искренняя задушевная просьба к тебе, мой честный, благородный, но, увы, бывший друг.

Если ты сочтешь нужным – отвечай мне, адрес мой узнай у брата; если нет – исполни хоть насколько можешь мою просьбу. Если тебя интересует моя судьба, я тебе скажу несколько слов о себе. Три года прошло со времени нашей разлуки, я, кажется, мало изменился в своих взглядах и правилах; попрежнему я избегаю общества и общественных удовольствий. Бываю в одном только доме, где меня принимают, как родного. Есть люди, с которыми я схожусь во взглядах и мнениях, но нравственно я целые три года одинок, как перст. Тайный страх закрадывается мне в душу, что это нравственное сиротство и запустение – уже начало разлагающим образом действовать на мое существо, и это сознание горько достается мне. Слишком молодым и мягким, не сложившимся попал я в круговорот экизни, а против экизни могут устоять только титаны, а не просто люди, желающие быть возможно порядочными. Немного утешает меня то, что я приношу существенную пользу своей семье.

Все это я пишу не потому, что пользуюсь случаем излиться, а пишу, как о частности, быть может, заинтересующей тебя. Я же привык уже прятаться в скорлупу. За три года ни откуда ни слова, ни строки нравственной поддержки. А в самом себе родник истинной жизни и света был слаб и, кажется, иссякает.

Глубоко уважающий тебя И. Каневский.

ИР НБУВ, ф. III, ед. хр. 49382, л. 102–103 об. Автограф, конверт отсутствует.



#### Иконников В.С.

Несколько страниц из моей жизни: письмо И.К.

Я не принадлежу к разряду тех людей, которые не любят оглядываться на свое прошедшее, все равно, будет ли пренебрежение следствием такого настроения характера, которое требует постоянно новых впечатлений, новой возбужденности, или следствием обломовского пренебрежения к самому себе. Напротив, я уже много раз переглянул свое прошедшее, переглянул его не как-нибудь, а вполне сознательно, доискиваясь причин и побуждений того или другого явления моей внутренней жизни. Это частое вглядывание в самого себя значительно облегчит мне теперь изложить кое-что о самом себе в виде письма к тебе, и именно то, что относится к нашим взаимным отношениям.

Я очень рад, что имею такого человека, как ты, с которым можно поговорить о своем прошедшем и который не назовет подобного рода беседу – пустым романтизмом и переливанием из пустого в порожнее. Конечно, я мог бы представить тебе более полную картину моей прошедшей жизни, я мог бы очертить несколько типических лиц, с которыми мне пришлось столкнуться во время кадетской жизни, и эти мои заметки могли бы послужить тебе пособием для очерка «кадетского воспитания», но я думаю, что это можно сделать в другой раз и собственно тогда, когда это тебе понадобится, а теперь ограничусь только нашими отношениями – может быть, и из этого что-нибудь тебе пригодится.

Через всю мою жизнь проходит печальная двойственность: стремление освободиться из-под влияния авторитета (каков бы он ни был) и нерешимость в освобождении от него. Следствием этого была и бывает странная внутренняя борьба, иногда бесплодная и подавляющая силы, лишающая значительной доли энергии духа; иногда заставляющая меня подняться ступенью выше прежнего моего положения. Характер самой борьбы зависел у меня от того рода убеждений, проводником которых я являлся в жизни. Первою сознательною идеею, за которую я стоял, была идея религиозная. Не стану утверждать, что она у меня родилась исторически: т.е. из известной обстановки семейной жизни, или как результат развития самого духа; нет, она появилась у меня искусственным



образом, как укрепление, за которым можно было защищаться от произвола семейной власти над личными стремлениями к выходу из той среды, к которой я питал отвращение и к которой, однако, предназначался. Я тебе когда-то рассказывал, как постепенно расширялась у меня эта идея. Под влиянием этой идеи я приучался владеть собою, и, может быть, она мне принесла бы большую пользу относительно силы воли, но, вероятно, потом почувствовался бы недостаток в чем-нибудь другом.

Последствия такой настроенности быстро высказались: я стал все более и более изолироваться в обществе товарищей и стал ко всем им относиться одинаково, с особенным исключением в пользу тех из них, которые сочувствовали моим стремлениям. К несчастию моему, я променял лучших на менее хороших, и, таким образом, я порвал окончательно связь с прошедшим. Под влиянием последних у меня началась перестройка характера, довольно насильственная, следовательно, лишенная естественности. Я иногда говорил одно, а думал другое, но постепенно стал привыкать к новой теме и с упорством уже держался ее. Так было до V общего класса. Здесь мне пришлось встретиться с учителем Я-ом, и под его влиянием у меня начал образовываться другой взгляд на самого себя. Я обязан Янсену тем толчком, который выбросил меня даже на настоящее поприще. А ведь дело было просто. Янсен поставил мне по истории 11 и сказал, что я могу ею хорошо заниматься. Ряд хороших ответов убедил меня в этом. Скоро был куплен Беккер, и началось школьное повторение задов. Случайно попавшиеся «Сочинения Грановского» открыли мне художественную и нравственную сторону истории, а Выдинский (Папство) показался мне уже роскошью. Так совершался поворот в моей жизни (подобно тому, как прежде прочтение «Горе от ума» – это первая книга, которую я прочел самостоятельно – заставило меня играть домашние спектакли, а чтение «Сочинений Лермонтова» манило на Кавказ и пробудило во мне поэтическое чувство, так что я стал писать стихи). Янсен преподавал у нас и статистику, и по этому предмету я пользовался у него вниманием; началась мечта об университете. Предположено было уволиться из I специального класса, но моя нерешительность (как следствие двойственности) испортила все дело. Я остался в корпусе. Однако постоянная мысль о моем призвании, а еще более лекции профессоров, читавших в корпусе, заставили меня окончательно склониться в пользу университета (в особенности влияние профессора Цехановецкого).

Совершенно другим я был переведен во 2-ю роту: поворот, столь важный для меня по последствиям, уже совершился, так что в классе товарищи называли меня уже не монахом, а профессором (идиллично!!) и обращались ко мне за разрешением вопросов по словесным наукам. Из моих товарищей в это время стояли ко мне ближе других: 1) Н-в, который сам никогда не читал лекций, а обыкновенно просил, чтобы ему читал кто-нибудь другой: по словесным предметам взял эту обязанность я на себя, а по военным он слушал Х-ж-ого; 2) Г-г.ский, которому я помогал в сочинениях; 3) Б-р-ский, как более других развитый, приходивший часто беседовать о чемнибудь научном и притом бывший моим соперником по словесным предметам. Кроме того, старшие 2-й роты 2-го специального класса жили довольно дружно между собою, так как нас было мало (Ил-ко, Х-р-ский, Ск-ский и я). Говоря вообще о всем классе, нельзя пропустить того, что личности в нем были удачно подобраны (всех около 50), так что, несмотря на большое количество, существовало чистое товарищество, с полным контролем над самими собою (так с фельдфебелем В-чем и еще двумя было положено не говорить известное время, и это исполнялось). Даже выйдя из корпуса существовала, можно сказать, круговая переписка, и только, может быть, 2 или 3 лица не участвовали в ней.

Однако я должен обратиться назад. Выше я сказал, что я был переведен свершено другим во 2-ю роту. Там я встретился с тобою, как с старым знакомым. Дня через три после моего перевода ты должен был уезжать на Кавказ, и я теперь еще помню, как в первую же субботу мы отправились вместе в отпуск в страшную слякоть. В течение твоего отпуска я оставался в корпусе. Скоро прошло скучное для меня время съемки. Многие из старших нашей роты уехали в отпуск, в том числе и трое из II специального класса, так что я остался за фельдфебеля. Это время поставило меня в близкие отношения к кадетам. Время летело быстро, и даже пребывание в корпусе перестало казаться мне противным. Не знаю, было ли это следствием сознания, что я совершенно независим от мелочных обязанностей простого кадета, даже от учений, или же это происходило от самого чувства скорой разлуки со всем окружавшим меня в течение лучших годов жизни. Повременам

мне хотелось бы задержать самое приближение срока выпуска. Неизвестность будущего меня пугала. Много было уже сделано мною на поприще занятий историей, и жаль мне стало этих занятий при мысли, что они не будут приложимы к жизни ... С такими чувствами я перешел из лагеря в корпус. Отношения наставников к кадетам были невыносимо грубы, чтобы можно было остаться безучастным к ним ... Скоро приехал ты и выбрал место на моем столе. Положительно можно сказать, что этот выбор и был шагом к нашему сближению. В то время мою душу волновали совсем другие вопросы, чем прежде, и даже Р-ский казался мне смешным во многих отношениях. Я этим не хочу сказать, что религия для меня перестала иметь тогда свое значение, нет, я только освободился от той узкой точки зрения, по которой смешивал дух религии с самой формой ее: я стал анализировать форму и нашел в ней много лишнего, несущественного, и мне самому стало совестно за прежнее упорство в привязанности к форме. Я сказал: другие вопросы волновали мою душу. Да, эти вопросы родились у меня вследствие занятий историей; я начал ближе всматриваться в ту жизнь, на которую прежде не обратил бы внимания, а окружающая среда имела столько пошлого, что не могла не обратить моего внимания на себя. Но ведь человек томится, когда нет исхода его чувству, когда мысль его не становится не только делом, но даже словом, и вот во мне родилась потребность в человеке, с которым можно было бы поделиться мыслями и который сочувствовал бы им.

Между тем, ты тогда уже доверился мне во многом и не скрывал от меня много и того, что доверяется обыкновенно только в родственном кругу. А самое чувство негодования, было ли оно мое или твое, негодования на жизнь, на среду, в которой мы вращались, разве не находило отголоска в каждом из нас, если только кто-нибудь из нас заявлял его? И вот я остановился на тебе: мне казалось, что я не ошибся. Ты помнишь, как всякое тревожное чувство в твоей душе о том, что ты не проживешь долго, что грудь твоя страдает симптомами подобного предчувствия, – возбуждало во мне сильную тревогу, и я не стеснялся высказывать тебе о ней. Неужели это было притворство? Нет, сто раз скажу нет и теперь докажу тебе, что нет. Все шло у нас хорошо до известной тебе истории с Б.л.-м. Наш класс отправился в арсенал для осмотра работ, мы с тобою расстались очень дружно, и я целый

день провел вне корпуса. Мало я обращал внимания на самые работы, но много подметил частностей из быта рабочих, из их отношений к начальству, много встретил любопытного на дороге, – все это стоило больших рассказов, тем более, что ты просил, чтобы я рассказал тебе о всем, когда возвращусь из арсенала. Я спешил в корпус, я ждал с нетерпением конца лекций, чтобы исполнить желание и обещание. Действительно, начало было сделано, но вдруг подходит Б.л.-й, и все изменилось: ты ушел, я не видел тебя целый вечер, а потом замечал на твоем лице какое-то беспокойство; с моей стороны доверие к тебе было подорвано; у меня пропала охота рассказать начатое ... Я не знал ваших отношений, я мог думать, что я стою преградой на пути вашей жизни. Я обдумал и взвесил все и теперь еще помню то заключение, к которому при-шел, именно: 1) мешать с моей стороны им будет бессовестно, 2) заискивать его расположения подозрительно, 3) убиваться – вредно для себя и 4) я решил повернуть круго. Но в последнем условии, т. е. в крутом повороте, я не выдержал характера и зашел слишком далеко: я хотел стать в обыкновенные отношения с тобой, но переступил границу и не то, чтобы силился не говорить с тобою, нет - просто не мог, потерял власть над языком, а между тем твои взгляды были для меня убийственны. Мне хотелось объясниться, но в чем и как? В моей преданности и сочувствии - где же доказательства и имею ли право, если нет взаимности? Да и имею ли я право навязывать свое сочувствие другому лицу помимо его воли? И мне пришлось разубедиться в тебе: это еще было в первый раз ... Тяжелое испытание. Не знаю, была ли когда-нибудь у меня более горькая минута. Я ведь тогда только что стал вникать в жизнь и должен был потерпеть неудачу на первых же порах. Какое чувство тяготило мою душу во время нашего молчания, — трудно передать. Не думай, чтобы с ним соединялась доля ненависти или презрения к тебе; напротив, это чувство относилось лично ко мне: я страдал за то, что ошибся и придумывал в добавок, что отталкивает тебя от меня ... Ты предложил вал в дооавок, что отталкивает теоя от меня ... Гы предложил объясниться, и я думал, что дело будет поставлено прямо, но тут настала более печальная минута. Я говорил откровенно, идеализировал, хотел возбудить в тебе сочувствие; ты говорил с жаром, но холодно, без участия. Это меня не бесило, а парализировало мой прежний взгляд, мое убеждение, а ведь ни с чем так не мучительно для человека расставаться, как с



убеждением. Тебе, кажется, понятна эта борьба – она стоит лучших сил души: еще счастлив тот, кому приходится отстаивать свое убеждение, но уж не тот, кто должен расстаться с ним. И ты себе представь – это все в начале моей самопознавательной деятельности! Тогда-то впервые я подумал, что самое несчастное создание – человек. Впоследствии этому скептицизму суждено было принять значительные размеры.

Мы объяснились: я, по крайне мере, знал, что ты далее от того сочувствия, которое я питал к тебе. Я старался быть хладнокровнее, старался развлечь себя обыденными отношениями или слушанием игры на фортепиано И-ко. Но ты, конечно, заметил, что разговоры наши стали суше и пустее: они ограничивались чуть ли не подсмеиванием над классными выходками товарищей или над педагогическою системою наставников. Едва ли подобные отношения можно объяснить физиологическим состоянием крови. Ведь ты сам сознаешь, что несколько слов за стаканом молока или чаю у С-кова, или во время ходьбы по верхнему коридору, когда почти шум кадет из среднего этажа не долетал до нас, несколько слов были приятнее всех наших восклицаний среди рекреационной залы или насмешек над неудачами Г-са.

Мое чутье было до того развито в этом случае, что я мог отличить тот ток, с которым ты прежде просил меня удалиться от твоей кровати, когда ты хотел спать, от того тока, с каким эта просьба впоследствии сопровождалась. Я стал подозревать, не сомневаешься ли ты насчет моих нравственных правил, не смущают ли тебя взгляды и слова посторонних кадет, – я стал осторожнее. А между тем, я еще многое находил в тебе; я помню тот случай, когда мы однажды собирались в отпуск; была страшная вьюга, так что я и сам не решился бы идти пешком, а тебе, не знаю почему, сильно хотелось в отпуск. Я ездил домой обыкновенно с См-м, но он в тот раз был болен – я пригласил тебя. Нас отпустили в 5 часов, и меня приглашал ехать с собою Д-брж-й, но я, несмотря на демоническую любовь к отпускам, отказался и мог без всякого беспокойства прождать с тобою до 7 часов, когда прислали за мною. Наконец, ты помнишь, вероятно, как я доказывал возможность поддержки наших отношений, в противоречие твоим возражениям, тем, что останусь в Киеве, буду жить отдельно и буду присылать за тобою. Так я заходил далеко в будущее, ничего не подозревая. Ты уходил на большие праздники в отпуск, и я тоже, и в это время мы обыкновенно не виделись; конечно, ни тебя, ни себя я в этом не виню: я избегал новых знакомств, несмотря на все приглашения матери Р-ского заходить к ним. Но встречи наши после этих праздников были чрезвычайно холодны. Ты прежде с трудом уходил с моего стола, но потом стал даже выглядывать случая, чтобы убраться от меня. Ты был прав: вероятно, где меня не было, ты был свободнее. Следовательно, я был деспот, но я этого всегда боялся; к счастию, подоспели выпускные экзамены. Военные предметы для меня были почти новостью, а тут еще они в самом начале: я стыдился обрезаться и под влиянием страха и надежды просиживал дни без устали за ними. Видеться было некогда.

Я здесь должен немного оглянуться назад. Я уже упоминал, что еще в I специальном я задумал оставить корпус, но нерешимость моего характера испортила все. Я уже стал ограничиваться в будущем скромным званием репетитора в корпусе и занятием историей для удовольствия, как вдруг (именно вдруг) дело приняло другой оборот. Странно, однако весьма замечательно, что развитие во мне идеи религиозной и идеи университетского образования шло одинаковым путем. Как там, так и здесь противодействие внешней силы вызывало во мне сильнейшую потребность в удовлетворении тою или ло во мне сильнеишую потребность в удовлетворении тою или другою идеею. Еще я не испытал сил для будущих занятий в университете, а уже решил идти напролом. Подсмеивание домашних над моими мечтами и нерешительностию до того, наконец, меня задело, что я решил в ближайший раз побывать у попечителя Пирогова. В то время был репетитором у детей моего брата студент Маркони. Он стал подсмеиваться над тем, что я только начинаю, а к концу никогда не приведу дела, и сообщил мне при том, что  $\Pi uporo$ в скоро будет удален, и я его не увижу. Это заставило меня в ближайшее воскресение побывать у него. Так началось дело, которому не скоро суждено было исполниться. С кем же я спешил поделиться первым шагом на новом пути, тем шагом, который должен был остаться тайною до поры до времени? С тобою, а, между тем, это было уже на 4-й неделе поста. Были окончены экзамены, я решился записаться куда бы то ни было, лишь бы выпустили меня в Киев для того, чтобы здесь ожидать решения начатого дела. Я оставил корпус так, как никогда, ни после, ни прежде, не позволил бы себе его оставить.

Мы были недовольны директором и потому решили не прощаться с ним, а вслед за обедом оставить корпус. Я тоже был того мнения, потому что директор много мешал моему намерению, но я никогда не прощу себя за то хладнокровие, с каким я оставил ту среду, в которой мне суждено было провести лучшие годы жизни. «Мир вам, тревоги прошлых лет».

Я оставлял корпус и, как водится, раздаривал свои портреты. Я забыл многих, но не тебя; я только сомневался, дать ли его тебе при самом выпуске, или после, значительно после, в ту минуту, когда мы готовы бываем простить и злейшего врага и гнуснейшего подлеца – в минуту полного забвения. Но я не выдержал – примирился с чувством досады и тоски. Выйдя из корпуса, я думал увлечься «вихрем суеты», не допуская, однако, себя до нравственного падения. Я решился жить отдельно от родных, чтобы ни себя, ни их не стеснять. 28 дней отпуска было довольно на первых порах, но еще более довольно было для меня двух-трех увлечений, чтобы сознаться в пустоте нашего общества. К счастию, в это время приехала моя сестра с племянниками, и время свидания с ними было для меня счастливейшим временем в кругу родных, но зато следовавшая затем разлука была тяжелым камнем на моей душе, я жалел даже, что виделся с ними. В течение лета я едва прочел сочинения Тургенева, Гончарова и Авдеева. Я старался забыться, но не выходя из границ нравственности: вот я нанимал извозчика, чтобы рыскать без цели из конца в конец. Скоро был позабыт и университет, даже родилось желание просить перевода из Киева «в глушь, в Саратов». Плодом подобного настроения был мой дневник. Если бы меня не сдерживала в то время религия, - я не знаю, что бы из меня вышло.

Воспоминания о корпусе теснили мою грудь, но я решил не ездить туда, по крайней мере, долго, долго... 7 августа я посетил корпус, и вспомнилось мне все былое, тут и ты прошел перед моими глазами. Не буду повторять об этом – ты читал мой дневник. Начало было сделано – я бывал в корпусе довольно часто, но не находил в нем и тени прошедшего относительно тебя. Наши разговоры были осторожны, отношения натянуты; несмотря, однако, на все это, – посещение корпуса было для меня отдохновением. Придя домой, я заставал всегда какое-нибудь служебное распоряжение, которое лишало меня завтрашнего посещения лекций, – это меня тревожило

и возбуждало к болезненной задумчивости, так что я не мог ни за что приняться. Часто приходилось мне бывать в карауле около корпуса, и если это случалось в праздник, то ко мне заходили кадеты, не знаю, чтобы я дал за то, если бы можно было поменяться мне с кем-нибудь из них. Я вполне понимаю, как доходят наши офицеры до безжизненного равнодушия ко всему; я тогда вспоминал тебя и ту минуту, когда ты говорил мне в ответ на мое желание выбраться скорее из корпуса: «Будешь вспоминать корпус и пожелаешь возвратиться опять сюда». Так тянулись дни один за другим, и счастьем бывала для меня встреча с кем-либо из товарищей. Ты это мог заметить из дневника; скажу более – даже письмо доставляло мне более приятных минут, чем вся обстановка тогдашней моей жизни, а между тем, ведь тут же жили и родные ...

Ты помнишь, как одно слово «друг», написанное Г. Б-м в письме, заставило меня распространиться об этом на целой странице дневника. Не переживать мне, кажется, уже более тех чувств. Каждый год кладет на меня новый слой коры и, таким образом, не дает душе хоть однажды обнаружиться вполне... Нечего здесь говорить о той напряженной деятельности, которая была вызвана приготовлением в университет, о тех уловках, какие были употреблены, чтобы избежать неприятных столкновений. Уже после всего этого нам пришлось столкнуться поближе; многое я передумал из прошлого, когда денщик мне передал, что ты будешь у меня. Мне совестно было встречаться с тобою так близко и еще, пожалуй, наедине. Я готов был броситься к тебе и умолять позабыть прошедшее, считать его неуместным сном, я приискивал тогда, с чего бы начать разговор. Но грозы не было, да и кроме нас было еще много в комнате, мы говорили много, я еще более узнал, что ты уже не тот религиозный юноша, который мне, бывало, на все говорил, что одна надежда там.... В то время имя Базарова сделалось уже нарицательным и воплощало в себе отрицание всего; это имя я применил к тебе и думал, что у тебя уже нет веры ни в какое чувство, ни в какие привязанности. Я стал смотреть на тебя, как на живого автомата, и крепко пожалел тебя. Так как посещения твои прекратились, то я и счел не тревожить тебя, не поднимать завесы, задернувшей мое прошедшее...

Я предался со всем жаром науке и думал, что она одна не соскучится моими беседами и не отвергнет моей привязанности.



Но человек не может сидеть с нею глаз на глаз и в остальное время должен поревновать ее с кем или чем-нибудь другим. Кроме свободных отношений к науке, меня возбуждали к занятиям еще и воспоминания об экзаменах. Все шло хорошо, нужно было отдохнуть ... Я вспомнил снова о тебе; несколько попыток посещения остались напрасными, но мы встречались случайно. При первой встрече ты говорил со мною так, как я никогда с тобою не говорил; я заметил, что ты что-то ищешь, что в тебе много запросов, затаенных внутри, что ты хотел бы высказаться, но я боялся старого урока. С нетерпением я ожидал обещанного дня посещения ... Все остальное тебе известно.

\*\*\*

Мы должны расстаться, но расстояние не должно изменить наших отношений, потому что они лежат в самих чувствах, которыми управляют наши же силы. Одно убеждение вынес я из опыта последних годов – жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение ... жизнь тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка и исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были – исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку: не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать, но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло, наконец, тебе в глаза. Вся задача для тебя в том, чтобы убедиться в действительном сочувствии тебе человека; но с твоей стороны необходима известная жертва – вера в это сочувствие, вера в возможность жертвы со стороны постороннего человека. Проникнутый таким сознанием, ты никогда не скажешь: «Я не могу ему сочувствовать». Повторяю тебе прежние слова: легко разойтись, но как трудно снова сходиться!!! «Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь, – тоску разлуки победит душа».

## Ивану Каневскому

Мой друг, моя душа!

Нет слов для выражения той тоски, которая овладела мною, когда я прочел почти последнее твое слово. Неужели достало бы тебе сил дать мне это стихотворение уже после прощания? Тогда бы я тебя назвал камнем, а не человеком. К кому бы я обратился с выражением той муки, которая растерзала мое сердце ... Я должен был бы ждать, по крайней мере, три недели, чтобы написать к тебе, но ведь это было бы письмо, а что такое письмо? А ведь мы теперь будем только переписываться ... Боже! Какая тьма... лучше бы на свет не родиться. Где та надежда, которая, бывало, поддерживала мою изможденную душу? Где то учение любви, что когда-то примиряло меня с жизнию? После всего того, что мы говорили и что я прочел в твоем письме, – я понял, над какою пропастью я стою, остается только броситься в нее. Тот, в кого я верил, кого любил, кому и теперь готов пожертвовать всем, отказался поддержать меня на самом краю гибели. Вот шаг, я падаю, нет спасения, ты кричишь: назад, назад, а я уже на дне пропасти, и ты стоишь в оцепенении с простертою рукою, с изумленным видом. Боже, какая туча душевная! Благо, что слезы текут. О человек, где твоя цель, где твое пристанище, куда деваться из этого гадкого мира? Ни с кем я еще так не расставался, как с тобою, да и чего мне искать после всего этого? Я в том же положении, что и ты, еще даже хуже. Тебя утешают хоть далекие родные, а я что? - «не имам где главы приклонити». Это выражение беспорочнейшего страдальца применено теперь ко мне. Оно принадлежит всему человечеству, только человечество наше глупо и пусто; оно играет в карты, беснуется, летит вверх ногами и счастливо, потому что не сознает своей пустоты, а мы за то, что лучше других, что сознаем свое одиночество – терпим не по силам. Где ты, святая правда? Неужели механические силы природы поглотили тебя, неужели и человек, с безграничною скорбью, ничтожный, ожил в кругу бесчувственных тварей?

Нет, силы природы! – я не продам вам своего чувства, я не отдам вам и человека, который для меня все. Цивилизация человечества! Неужели за тот внешний лоск, которым покрыла ты нашу грубую оболочку, за те крупицы благодеяния, что рассеяны невидимо среди массы пошлостей и дряблой мишуры, – мы должны отплачиваться самыми заветными

чувствами? Нет, друг мой, я не отстану от болезненной твоей души, я послан тебе судьбою провесть тебя сквозь тьму искушений страшными жертвами с моей стороны. Я на все готов – требуй, я повинуюсь ... От сих пор все средства будут употреблены мною, чтобы нам скорее и на долее встретиться.

Если бы ты заболел и душа твоя чуяла что-то недоброе, – пиши ко мне, я продам все мое богатство – мою библиотеку - и прилечу к тебе хранителем последней твоей воли. Пиши и тогда, когда борьба будет тебе не по силам, и укажи, если это тебе будет возможно, средство помочь тебе; пиши и тогда, когда душа твоя потребует слез, чтобы облегчить себя; смоченное слезами письмо - смочится вторично; пиши и тогда, когда тебя все изменит, потому что я тебя не могу изменить; пиши во имя той любви, которая соединяет нас. Она не продается на золото и серебро, потому что для меня она дороже всего мира. Скажу тебе просто: эти два года будут тяжелым испытанием для нас в жизни, испытанием, которое может отразиться на нас самих, но пусть они пролетят, и для меня не будет существовать расстояния относительно тебя. Теперь из двух зол я должен выбирать лучшее: я могу пожертвовать собою тем, что могу перевестись в Петербургский университет; но ведь я без особенных средств к существованию, и при том уже заявил о своих занятиях здесь, - следовательно, последнее обстоятельство – большая поддержка для меня на счет будущего, а в Петербурге едва ли бы я мог ограничиться двумя годами занятий, потому что приискание средств отняло бы половину времени, тогда как ты, наверное, можешь окончить через два года. Два года! Кто не считал времени при разлуке будущего свидания! А нам оно отсчитано судьбою в тот момент, когда мы оба на краю пропасти решились помогать друг другу! Тяжелая минута разлуки уже близко. Но вот как говорит Тургенев об этой великой катастрофе для любящих существ. Положимся на его слова, поверим его опытности: «Разлука! Разлуку переносить и трудно, и легко. Была бы цела и неприкосновенная вера в того, кого любишь, - тоску разлуки победит душа. Скажу более: только тогда, оставшись одною, узнает она сладость уединения, не бесплодного, но исполненного воспоминаний и дум; только тогда она себя узнает, придет в себя, окрепнет ... В письмах далекого друга найдет она себе опору; в своих она, может быть, в первый раз выскажется вполне».

Пусть эти слова дорогого для всех нас человека послужат опорою на тяжком жизненном пути. Он больше нас изведал жизни и больше нас вникал в характеры людей. Какая разница между твоим стихотворением и вчерашними словами: «Я надеюсь, что будет хорошо». Если бы не они – мне бы мало чего оставалось в тебе, а без этого далее тьма, пустошь, мишура и блестки ... Позволь же мне ответить и тебе в каких умею стихах на некоторые строфы твоего безотрадного стихотворения:

Мне сердце сказало, что есть человек, Проникнутый горем страданья, Что душу мою он исцелит на век Во имя святого призванья.

Я веру в призванье хранил, За то я тебя полюбил.

Ты холоден, холоден мертвой душой, Но в ней есть частица участья, Поверь же хоть раз, не напрасно, друг мой, Мы оба лишились здесь счастья.

Ты веру в меня сохранил, За то я тебя полюбил. Болящему сердцу покой и отраду Ты можешь собою доставить. Прими же святую его ты награду: Оно не забудет, оно не оставит.

Сомненье пустое ты мог пережить За то я тебя и мог полюбить. Возможно ли будет забыть про тебя, Про образ твой светлый, печальный, Который наверно поддержит меня На страшном пути испытаний.

Ответить печали моей ты спешил, За то я так крепко тебя полюбил. Хоть жертва ты миру, Не жертва святого страданья, А прихоть неволи, пустому кумиру Но верь – во мне есть желанье Делить и отраду, делить и страданья. Прости мне за слово, за мысли прости,

Прости мне за слово, за мысли прости Но если ты можешь – меня полюби. Не словом проклятья Тебе я отвечу,



Но с жарким объятьем Пойду я навстречу. Я жертва страданья, я жертва тоски, А сердцу так больно и вспомнить, Что к этим страданьям прибавил и ты Частицу печалей, чтобы не запомнить.

Но веря в тебя, тебя я люблю, И верю, что душу исцелишь мою. Не горький напиток предложишь ты мне Во время истомы душевной, Не ядом напоишь ты сердце в огне, Измятое жизнью плачевной. Ты жажду утолишь – любовью святой, Ты сердце исцелишь надеждой, Любовь защитит, под кровом надежды я той Закрою усталые вежды.

И веря в тебя – в могилу сойду, Но только в тебе покой я найду.

\*\*\*

Жалкое существо человек: еще Гоголь сказал, что каждый из нас готов обнять весь мир, но только не одного человека.

Вполне сочувствующий тебе человек.

Если бы я умирал в твоем отсутствии, – то нашелся бы еще как отблагодарить тебя, но ни нашего портрета, ни книги, которую ты мне дал, ни, тем более, твоего стихотворения – я не оставил бы в этом мире ...

Никогда нельзя ответить положительно на все вопросы, сделанные неожиданно, тем более на вопросы, затрагивающие самую суть человеческого характера. Зато отвечать по первым впечатлением, обдумавши все пересказанное, отвечать на то, чему сочувствуещь, значит облегчать тучу душевную. Ты сам поставил известный тебе вопрос так, что я должен был ответить: да или нет. Этот вопрос сбросил камень с моей души, которому пришлось бы еще долго и долго давить ее ...

От души благодарю тебя за эту решимость. Распрощавшись с тобою под приятным впечатлением, я почувствовал такую силу духа, что в состоянии был, несмотря на всю усталость, испытанную мною в тот день, в состоянии был просидеть за книгою до  $12^{-1}/_2$  часов. Затем долго я еще не спал и передумывал о нашем разговоре. На другой день я думал передать тебе несколько мыслей, но твоя поспешность, с кото-



рою ты старался от меня уйти, – заставила меня промолчать. И вот я решился тебе сообщить кое-что письменно.

Я оставил корпус с глубоким разочарованием. Два следующие года, несмотря на ту цель, достижение которой было моею постоянною задачею, — были темные годы во внутренней жизни моей души. Встреча с кем-либо из бывших моих товарищей являлась светлою звездою на мрачном фоне однообразной жизни. Из всех этих встреч я вывел одно заключение, что жизнь измяла их до того, что они ничего не видят дальше казенной действительности, и самые задушевные их обещания обращались обыкновенно в мыльные пузыри.

Мечте обманчивой послушный, Давал я руку простодушно – Никто не жал руки моей.

Между тем, в это время ты выдерживал ужасную борьбу с старыми убеждениями и, судя даже по тем мыслям, которые ты успел набросать в двух тетрадях стихов, я могу сказать, что твое настроение духа было одинаково с моим, с тою только разницею, что ты облегчал эту истому души выражением ее в слове, а я .... Я был лишен и этой выгоды. Я подавлял бурные порывы искусственным развлечением, которое могло бы обратить меня в бездушный скелет, хотя с полным задатком физических сил ...

Мы снова встретились. Я думал про себя: коса нашла на камень, вышло не то. В первый период нашей обоюдной жизни (т.е., еще в корпусе) ты еще не испытал того разочарования, которое бывает следствием разлада души с старыми убеждениями, и потому ты не нуждался в нравственной поддержке себя кем-либо на пути трудной жизни, тогда жизнь еще манила тебя. Но теперь, когда многое в ней для тебя порвалось и поистерлось, жить одному, без посторонней поддержки, без чьего-либо сочувствия — значит не верить окончательно в достоинства человека. Вся задача для тебя в том, чтобы убедиться в действительном сочувствии тебе человека; но с твоей стороны необходима известная жертва — вера в это сочувствие, вера в возможность жертвы со стороны постороннего человека. Проникнутый таким сознанием, ты никогда не скажешь: «Я не могу ему сочувствовать».

Для меня непонятно, почему ты теперь, в такое короткое свидание, заметил во мне так много сочувствия, между тем как оно есть только слабое продолжение происшедшего. Я



теперь был чрезвычайно осторожен, я боялся даже легким намеком раздражить воспоминание о прошедшем, так уже измяла меня жизнь; уже много энергии утрачено, и если бы не вчерашний твой вопрос, быть может, я никогда не поднял бы запроса в моей душе о присущности моего идеала, и тогда бы я обратился в ту же мелочную личность, которых ты встретишь на каждом шагу. Разумеется, ответом на твой вопрос было полнейшее сочувствие: верь в него - оно тебя поддержит, но только убедись, что с моей стороны возможна полнейшая жертва, а с твоей необходима уступка борьбе, а не избежание ее. Говорю откровенно: неужели тебе необходимо, кроме такого сочувствия, смазливое лицо, под которым всегда скрывается продажное чувство модной красавицы, или высокопарная речь об этом сочувствии, без сущности дела ... Главная беда в том, что ты разочарован вполне в достоинстве человека. Но знай, что мой характер сложился под влиянием страшной нравственной борьбы, борьбы за известный идеал, и я могу пасть только вследствие недосягаемости этого идеала. Но если это случится, и я обращу свой взгляд в прошедшее, то сам обращусь в камень, подобно жене Лота, оборотившейся назад. Тогда расчет мой с жизнью покончен. Будем же поддерживать друг друга. Легко разойтись, но как трудно снова сходиться!!! Заключу словами Тургенева: «Была бы цела и неприкосновенная вера в того, кого любишь, - тоску разлуки победит душа»<sup>4</sup>.

> ИР НБУВ, ф. 260, ед. хр. 771, л. 1–18 об. Автограф.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Текст повторяется, возможно это две редакции одного и того же текста, однако оба они не зачеркнуты автором, что требует полного воспроизведения их обоих.

## Наукове видання

# ВОЛОДИМИР ІКОННИКОВ

Листи до друга 1863-1864 рр.

(російською мовою)

Упорядник та автор передмови В.І. Ульяновський Редактор Н.М. Зубкова

Комп'ютерна верстка та дизайн обкладинки О.С. Боляк

Формат 60х84/16 Гарнітура *Cambria*, *Minion Pro*, *Pasma* Ум. друк. арк. 8,83 Обл.-вид. арк. Наклад 100 прим. Замовлення № від 10.02.2021 р.

Виготовлено в друкарні ТОВ «Видавничий дім «АртЕк» 04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 63 тел.: +38(099)552 1504 ph-artek@ukr.net www.book-on-demand.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК №4779 від 15.10.2014 р.